

ПЕТР БАЛАКШИН

**ВЕЧНА
НАД
ФИЛМОРОМ**
и другие рассказы



С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й
П. П. Б А Л А К Ш И Н А

Р А С С К А З Ы

Т о м П

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С И Р И У С
С а н Ф р а н ц и с к о — Н ь ю И о р к

Peter Balakshin
The Spring over Fillmore

В том же издательстве :

ПОВЕСТЬ О САН ФРАНЦИСКО

Все права сохранены за автором.

1951

О Г Л А В Л Е Н И Е

В Т О Р О Г О Т О М А

1. САДЫ В ЦВЕТУ	5
2. СОБАКА НА ОСТРОВЕ КВАДЖАЛЕЙН .	15
3. РАССКАЗ О ГОЛУБЫХ ЖИЛКАХ . . .	31
4. ТАНЕЦ ОДЕРЖИМОЙ НОРМЫ	35
5. ОСТАНОВИВШИЙСЯ МАЯТНИК	50
6. ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ	76
7. АРИЯ ДОКТОРА ФАУСТА	105
8. КОМНАТА НАД ГОРОДОМ	123
9. ЗОЛОТАЯ ЛИСА	152
10. НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ СЕУЛА	176
11. ПОВЯЗКА	197
12. ХИБИСК ЧУТЬ ВНЯТНЫЙ	209
13. ТРИ СЕСТРЫ	225
14. ВЕСНА НАД ФИЛМОРОМ	234

Сады в цвету

Сперва расцветает миндаль, пока март, после то нерешительного, то буйного колебания, покорно переходит к весне. За миндалем начинают цвести вишни и персики, затем сразу, только что отряхнув от себя ночное оцепенение, открываются белые яблони и сливы, чтобы к полуденному часу в горячих волнах солнечных лучей зацвести полным благоухающим цветением. К этому времени уже все, что только может впитать в себя жадный глаз — скатывающиеся вниз во всех направлениях холмы; долины перерезанные сверкающими лентами дорог и выложенные квадратами ферм; берега шумных ручьев, омытые свежей зеленью овраги — все это утопает в нескончаемом потоке нежного белорозового, ало-сиреневого цветения. Сладкий и терпкий аромат поднимается от него, и кажется, что между распустившимися садами и бездонно глубоким в синеве небом, в миражном парении воздуха медленно плавает огромное душистое облако, овевающее оплодотворенную землю своим благоухающим дыханием.

Джим, старый работник на фруктовой ферме, накачал из ручной помпы воду в выщербленный эмалированный таз. Он шел, чуть пританцовывая, к своей комнате, пристроенной к сараю, высокий, худой, в огромном синем овероле; свои вставные челюсти он оставил на столе и теперь его рот совершенно пропадал в складках морщин впавших щек. Он нес в одной руке таз, скребя желтыми ногтями пятидневную щетину на щеках. Джим был эксцентрик; его знали во всем околотке, знали его молчаливость и что иногда, ни с того, ни с сего, он скажет чтонибудь такое, что никто не ожидает. Его никто не трогал, он жил на ферме, исполняя всякие работы.

Была суббота. До полудня Джим красил веранду хозяйского дома. Он брился, соскабливая на коже краску, где она легко отходила, и оставляя ее на других местах. В той же воде, где плавали серые островки мыла с прилипшей грязной щетиной, он ополоснул лицо. Вода сползла по жилистой шее, когда он крепким движением рук отвел ее от головы; так же энергично он провел пальцами по шее, но морщины были так глубоки, что грязь навсегда въелась в них. Он спустил оверол, раскорячив ноги, чтобы штаны не сползли вниз, и выprostал хвосты рубахи.

За дверью раздался голос; он отодвинулся от двери, придерживая рукой помочи оверола, и мотнул приглашающе головой. Бети, семилетняя хозяйская дочь, вошла внутрь. Она посмотрела на его фигуру, раскоряченные ноги, лицо со

следами краски, и засмеялась, особенно когда он надул щеки и от щелчка пальцем выдул со свистом воздух.

На дворе кудахтали куры, у прудила крякали утки; из окон хозяйского дома неслись звуки радио. Солнце висело высоко над садом, над белыми и розовыми купами вишен и миндальных деревьев. Ферма была на возвышенном месте и оттуда, где стояла пристройка рабочего, открывался прекрасный вид на всю долину внизу, сплошь усеянную садами.

В доме хлопнула дверь.

— Бети! — крикнул хозяйский голос. — Ты где?

За домом зашуршали шины автомобиля о гравий подъезда.

— Скорей, Бети, отец ждет!

Хозяйка вышла из дома, отгоняя от себя бросившихся к ней кур. В комнате Джима слышался взрыв смеха Бети, и затем неожиданный и такой контрастный к нему — сдавленный и испуганный крик.

Пересекая двор, мать Бети остановилось и обернулась на него. Дверь в комнату Джима была приоткрыта; она сделала еще несколько шагов, по утиному переваливаясь с боку на бок.

— Ах! — тяжело и пронзительно крикнула она, поравнявшись с дверью и заглянув в комнату. Джим стоял к ней спиной в полусогнутой позе; спущенные оверольные штаны стояли бесформенной синей массой, и из них торчали раскореяченные ноги со старчески тощими, обвислыми ягодицами; в углу комнаты, напуганная видом

нахохлившегося старика, жалась к стене Бети, продолжая еще держать палец у рта, еще только что смеявшаяся и теперь не зная, что делать, продолжать ли смеяться или кричать от испуга.

На крик хозяйки прибежал ее муж. Сосед, хлопнув поспешно дверью, кинулся к забору. Старик, уже натянув помочи оверола, продолжал смотреть с удивлением на хозяйку, пронзительно кричавшую на него. Она замахнулась на него, но муж придержал ее руку и сам прикрикнул на нее. Теперь старик смотрел то на нее, то на него с тем же выражением удивления и даже удовольствия. Он хотел крикнуть от смеха, но она, выпутив руку, ударила его, и тогда он гневно закричал, поспешно хватаясь за вставные челюсти на столе.

К приезду шерифа он успокоился опять, продолжая сидеть в том же виде, в каком его застал ее муж — со спешно натянутыми помочами оверола и в грязном нательнике. Пока шел короткий опрос, он с интересом продолжал смотреть то на одного, то на другого; когда шериф сделал движение, чтобы тот пошел к его автомобилю, старик неожиданно стал серьезным и спросил его:

— Какой размер воротничка вы носите?

— Шестнадцать, — ответил шериф, осматривая еще раз деловитым глазом его комнату.

— У моей собаки ошейник был тоже размером шестнадцать, — заметил он, хитро, по заговорчески взглянув на хозяина.

Камера уездного суда была переполнена, ког-

да открылся суд над стариком по обвинению в попытке к насилию. Во время обвинительного акта несколько женщин, членов Женского клуба, сидевших в первом ряду с учительницей из школы, куда ходила Бети, смотрели с отвращением на Джима, на его длинное впалое лицо, на унылый нос и глубоко ввалившиеся глаза. В том месте, где прокурор обрисовал картину, которую увидела мать Бети, повернувшись на ее испуганный крик, глаза их стали еще более решительными и рты вытянулись в узкие щели. Да, казалось говорили их суровые глаза и крепко сжатые рты, это настоящее лицо преступника, эти впалые глаза играющие по временам каким то особым блеском, длинный, расщепленный на подобии ястребинного клюва нос, впалые щеки, растопыренные, как у слона уши, перерезанная буграми и морщинами шея, да, это лицо извращенного преступника! То же, казалось, можно было прочесть и на лицах присяжных заседателей, внимательно слушавших прокурора. И только единственно безучастным казалось лицо судьи, слушавшего прокурора с судейским бесстрастием; в его лице показалось больше интереса, когда прокурор заговорил о Бети, и когда он перевел на нее свои глаза.

Бети, сидевшая матерью за балюстрадой, отделившую публику от свидетелей, чувствовала, что она играла большую роль в этот день. Она ловила на себе взгляды публики, присяжных и судьи, зная, что они таили особый в себе интерес, и такое же особое чувство любопытства росло в ней. Это не был маленький ребенок,

семилетняя девочка, игравшая с цыплятами на ферме, смеявшаяся по самому незначительному поводу. Она и сидела, как маленькая женщина, положив ногу на ногу и разглаживая складки платья над пухлым коленом. Мать завila ей волосы, надела на нее нарядное платье и повесила какое то украшение, а на ее пухлом пальце сверкало поддельное золотое колечко. Глядя на нее и сравнивая ее лицо с лицами женщин из Клуба, с лицом учительницы и другими в публике, казалось странным, почему на ее лице, принявшей в этот день уже совершенно полный вид женщины, не было румян и губной помады.

Судья оторвал свой взгляд от Бети и перевел его на прокурора. Через некоторое время он повернулся прямо к публике; найдя глазами свою жену, внимательно слушавшую прокурора и поглядывавшую на старика Джима, он остановил своей взгляд как бы в глубоком раздумьи на ее полном мясистом лице, переведя его потом на ее полную фигуру. Голос прокурора поднялся еще выше; сделав шаг вперед, он навел обличительно указательный палец на старика. Судья поправил локоть на кафедре и взглянул на него, но его мысли опять заставили перевести быстрый взгляд на Бети, на ее пухлые, прикрытые высоко над коленями, ноги. Он провел взглядом по лицам женщин, сидевших в первом ряду, и остановился на лице учительницы, но он сделал это так быстро, словно не хотел, чтобы в публике заметили, что он смотрел сперва на Бети, потом на свою жену, потом опять на Бети и, наконец, остановил своей взгляд на учитель-

нице.

Прокурор окончил свою речь. Судья качнулся на стуле; протянув руку к листу бумаги, он сделал быстро пометку относительно вечера.

Когда присяжные вернулись и снова сели на свои места, судебный клерк прочел их приговор. В зале все пришло в движение, раздались возгласы и вздохи облегчения как после хорошо законченного дела.

Встал и старик Джим, к которому, разговаривая на ходу с клерком, подошел шериф.

— Какой размер воротничка вы носите? — спросил старик, оглядываясь на стоявших около него.

— Ладно, ладно. мы уж об этом слышали, — ответил шериф, защелкивая на его кистях наручники.

Вечером, после обеда, судья собрал бумаги в портфель и направился к выходу.

— Ты куда? — отозвалась его жена из кухни.

— Нужно просмотреть кое какие дела, — ответил он, доставая ключи от автомобиля.

Он выкатил автомобиль на дорогу и свернул в боковую улицу, объезжая стороной городок. Через несколько кварталов он замедлил ход, всматриваясь в окна домов. Проехав чуть дальше, он остановился и коротко надавил на гудок. Вдали хлопнула калитка и мимо цветущих яблонь прошла фигура.

Судья захлопнул за нею дверь машины и пустил в ход мотор.

— Хотите на старое место? — спросила учи-

тельница, когда они выехали за город и стали подниматься на гору.

— На старое место? — переспросил судья, как бы думая, стоит ли ехать на старое место, не лучше ли всегда перемены. — Нет, поедem куданибудь в другое место.

Молодой месяц, как голубой миндаль, показался из за горы и низко повис над цветущими садами.

— Да, я совсем забыла спросить! Я ушла утром — как же дело этого рабочего с той маленькой девочкой?

Судья переложил из одного угла рта в другой сигару.

— О, да! Суд уже закончен. Дело явное и... Ведь его накрыли на месте преступления. Присяжные заседатели совещались час с чем-то, да и то больше для формальности. Приговора я еще не объявил. Вообще за это — от пять лет до пожизненного заключения...

Он высунул голову из окна и взмахнул рукой в сторону белых и розовых садов. Она посмотрела в сторону его руки.

— А что с ним сделают? — вернулась она опять к мыслям о рабочем.

Судья еще раз кинул взгляд на цветущие сады. Переведя взгляд на серую ленту дороги, он потер переносицу.

— Вы знаете, в таких случаях мы делаем почти все, что нам заблагорассудится...

Время от времени он высовывал голову за окно автомобиля и посматривал на сады и подъезды к ним. Перед одним из них он замедил

ход и стал съезжать с шоссе. Автомобиль медленно катился по черной рыхлой земле сада. Судья перевел на вторую скорость; мотор, до этого взбиравшийся в гору, был уже значительно нагрет. Теперь на второй скорости из радиатора выбивался пар.

— Если бы еще камни, совсем было бы плохо для шин, — заметил он

— У вас вода, вероятно, перегрета, — сказала она тем же тоном, поглядывая на пар.

— О, да, старый мотор.

Он сделал круг между деревьями, чтобы легче было выезжать, погасил огни и заглушил мотор, еще свистевший раскаленными цилиндрами.

— А вы думаете, что достаточно далеко, — спросила она озабоченно.

Судья открыл дверцу и вылез из автомобиля. Он размял ноги, несколько раз приседая в коленях, посмотрел назад на шоссе, смерил расстояние глазом до края дороги и присел, чтобы между стволов цветущих деревьев рассмотреть, нет ли поблизости строений.

— О, да! — уверенно отозвался он.

Он помог ей сойти с переднего сидения автомобиля и открыл вторую дверь.

— Одну минуту, — заметил он, залезая внутрь, — тут жена оставила какие то свои вещи, я их переложу за сидение.

Мотор еще свистел, не успев остынуть. Судья закрыл за собой дверь, но спустил окно.

— Подождите, — произнес внутри автомобиля голос учительницы, — мне так неудобно.

— Сейчас, — отозвался судья, — я поправлю.

Он вылез из автомобиля, два раза затянулся сигарой и осторожно положил недокуренный конец на дужку автомобиля и снова открыл дверь.

Мотор еще шумел, но уже значительно тише; пар выбивался из радиатора, издалека он казался белым кудреватым деревцом...

Первыми в этих местах цветут фисташки и миндаль; за ними расцветают черешни и персики, а вскорости белым благоухающим потоком распускаются яблони и сливы, и тогда уже все в окрестности, что только может охватить жадный глаз, утопает в белоснежно-розовом, в ало-сиреневом цветении. Сладкий и терпкий аромат поднимается от него и висит под ярким солнцем или под молодым стройным месяцем огромным благоухающим облаком, прирывающим черную взбухшую землю в белизне ее весеннего оплодотворения.

Июнь 1939
Сан Франциско

Собака на острове Кваджалейн

Аэроплан, только что прибывший после долгого перелета с острова Джонстон, еще тяжело дрожал последними конвульсивными движениями замирающего мотора. Внизу, невидимо для пассажиров, еще сидевших прикрепленными кожаными поясами к сидениям, подкатали платформу с лестницей. Хлопнула тяжелая дверь, откинутая наружу, и в прохладу, занесенную с высоты восьми тысяч футов, ворвалась удушливая волна парного тропического воздуха.

Под брюхом самолета возились люди, вытаскивая мешки с почтой и багаж. Грузовик прошуршал шинами по коралловому песку аэродрома, сбогнав молчаливо шагавшую группу пассажиров. Стало опять тихо, только издали, со стороны низких зданий аэродрома раздавались отдельные голоса.

Земля аэродрома, скамьи, стены домов еще хранили душашую испарину дня, хотя солнце уже спустилось к морю и теперь казалось огромным диском, напоминающим круглое окно гигантской доменной печи.

Мартенс бросил свой багаж в проходе аэродромного холла, открытого с противоположных концов, в надежде на легкое дуновение ветра. За низкой перегородкой повизгивали радио приемники, но их неопределенный звук тотчас же замирал, словно не мог прорваться сквозь свинцовую тяжесть тропической жары в открытое небо.

Солнце село, залив на короткий момент великолепным багрянцем небо и океан. Наступили сумерки, невероятно короткие. Затем ночь.

Внутри было полутемно и маленькие лампочки под потолком тлели тусклыми желтыми стеклами. Для пассажиров, устало развалившихся на скамьях в удушливой испарине, долгое ожидание становилось мучительным на маленьком острове, затерянном в необъятной пустынности Тихого Океана на воздушной линии между Гуамом и Гаваями.

Наступила темнота, но вскоре из массы взгромодившихся облаков выплыла луна, полная и таинственная, холодная и отдаленная. На огромной высоте, над громадой кучных облаков, в холодном великолепии голубого света, она казалась наипрекраснейшим созданием всего мира.

Мартенс вышел под открытое небо и провел глазами по низкой линии берега и горизонта. Затем посмотрел на массу белых облаков, на открытую над ними пустоту неба, огромную и бесконечную, и над ней на полный диск бледной луны, подвешенной в пространстве, отдаленной и чуждой, и вместе с тем близко связанной со всем миром, который теперь казался безфор-

менно огромным и опустошенным.

Было только два измерения — вертикальное и горизонтальное, одно прорывавшееся через голубое сияние и луу и затерянное в пространстве; другое, отмеченное низкими крыльями аэропланом, берегом острова и переходящее в безграничную линию горизонта, и Мартенс чувствовал до физического ощущения боли, что они давили его своей тяжестью в точке их перекрещения.

Он постарался отряхнуть себя, и опять устремился долгим взором на громаздящиеся облака, которые создали свой собственный фантастический мир невероятно сложного рисунка, формы и окраски, мир давящий и вдохновляющий в одно и тоже время, безразличный и кажущийся неживым, но словно наслаждающийся своим собственным совершенством в лунной прозрачности света. Он перевел глаза выше, на пустое пространство над облаками, закинул еще выше голову, пока его глаза не остановились на луне на долгое время, которое казалось ничто по сравнению с такой отчужденностью и отдаленностью, думая, что никогда он еще не видел такой отрешенной и величественной луны...

Позади, в холле аэродрома, голос диспетчера разнесся глухо по громкоговорителю, и вскоре маленькая группа людей с парашютными ремнями за спинами и багажем в руках прошла молчаливо по залитому луной аэродрому. Вдали замелькали огни на одиноком аэроплане и неожиданно рывнувший мотор нарушил тяжелое

спокойствие тропической ночи.

Мартенс повернулся и пошел назад к зданию. У входа, у скамьи, за цинковым баком, лежала на спине собака, раскинув широко ноги и повернув розовый живот в сторону легкого бриза, нерешительно порывавшегося с океана. Мартенс присел на корточки, потрогал уши пса, приговаривая с грубой нежностью слова, которые говорят люди, любящие собак. Он почесал ее за ушами, пощекотал живот, но собака не сделала ни одного движения, даже не повела ухом, не пошевелинула хвостом. Она забралась за скамью вероятно еще тогда, когда солнце было за крышей здания и когда в закатный час и короткие сумерки, в легком ветре с океана, она могла отряхнуть бремя дневной жары.

С ухом, повернутым в сторону аэродрома, Мартенс продолжал трепать пса, чувствуя под своими осторожными пальцами тепло кожи; затем вернулся в слабо освещенный холл и вытянулся на скамье в сквозном проходе. Он огляделся вокруг, больше для того, чтобы позернуть шею в ту и другую сторону, чем посмотреть на что либо, повторяя слова, сказанные, когда он трепал собаку, и стал думать так напряженно и отрешенно, словно его мозг внезапно приобрел свободу и сейчас уносился за крышу, через пустое пространство, наполненное голубой прохладой, выше и выше, в направлении прекрасной луны.

Было только два измерения, и он чувствовал, что они давили его. Он двинул еще раз шеей, словно хотел попробовать, сколько у него оста-

лось свободного движения, прежде чем он будет раздавлен совершенно. Ум его был совершенно свободен, и с необыкновенной ясностью он чувствовал, что мог видеть в направлении любого измерения и думать о вещах, которые прошли много лет назад и были почти истерты памятью, о людях близких и далеких, особенно о женщинах и детях... Угол темной улицы у подвешенного моста, верхняя часть которого терялась в тумане, угол, куда он попал раз ночью, в чужой стране, чтобы спешно покинуть ее на следующее утро. Несколько лиц, встреченных между мостом и вокзалом в зеленоватой призрачности рассвета... Вечер у чугунной решетки, за которой в зелени буковых деревьев виднелся барский особняк... Летний вечер со спокойным небом над Дунаем, кто то играл Шопена с нежной легкостью и увлечением... Острый запах каменноугольного дыма на какой то станции, название которой он не запомнил; зимняя ночь, которой не было конца, холодный ветер, который не переставал греметь оторванной вывеской по крыше... Слова, сказанные где то и кем то с различным движением чувства, слова, которые никогда не теряются и никогда не стареют... Встречи, случайные и долго ожидаемые, которые оставляют неизгладимый след... лица и походки, особенно одна, легкая и воздушная, словно начатая из ничего... цветок, его форма, окраска и аромат... цветок, над которым он наклонился в момент восхищения, в редкую минуту счастья, к которому притронулся со всей нежностью в сердце, и горечью, так как они

держатся одинаково навязчиво в памяти человека... Закаты с их долгим желтым и малиновым горением; глаза собаки, их мечтательный и таинственный блеск, зародившийся в отдаленнейшем времени, когда вся животная жизнь только что приобрела форму и ощущение. Любовь, тяжелая и невыносимая любовь одинокого человека, о которой он думал — не без иронии — что на нее можно было положиться.

Однажды появился цветок, и он наклонился над ним со всей нежностью и жалостью, больше к себе, нежели к кому либо другому... Были закаты и ночи, которые следовали за ними, и блеск в собачьих глазах, которые не пропускали ни малейшего движения его лица, ни шага, возбужденного и нетерпеливого в той маленькой комнате, которая казалась все ширилась с каждым шагом, так как теперь их было там двое, он и его собака...

Это была история о цветке, который неожиданно, словно по чуду, вырос сквозь цементный пол темной комнаты позади летнего театра в маленьком городе. Была поздняя, дождливая осень с небом в свинцовых тучах, и город казался покинутым и странно тихим днем. Но в час заката невероятно жуткий рев поднимался над городом, в котором терялось все остальное, он рос и доходил до зловещего отчаяния, так как это был рев голодных зверей, покинутых владельцем зверинца в тот страшный год на голодную смерть.

Он прислушивался к этому реву из маленькой комнаты, стараясь сделать все возможное, что-

бы заглушить его и забыть о нем. Он делал попытку подняться и ступать на распухшую и тяжело забинтованную ногу, и чтобы сделать себе еще хуже, начинал думать о себе, о своей судьбе, о жестоких днях войны, все лишь для того, чтобы заглушить отчаянный рев зверей.

Но однажды случилось чудо, и в холодный ноябрьский день появился цветок. Сперва как слабый росток, чуть пробивающийся сквозь твердую почву, вначале нерешительный, но быстро растущий. своим внезапным появлением поразивший и наполнивший его необыкновенным счастьем. Он подошел и наклонился, заглянул в глаза, чувствуя тепло ее руки...

Мартенс поднялся в неудержимом волнении и почти бросился наружу, под открытое небо и луну, такую высокую над огромным и опустошенным миром. Долго с широко раскрытыми глазами он смотрел на облака и луну, повисшую в прохладе голубого сияния, с мыслями о далеком севере, которые казались даже естественными в этот час тяжело дышавшей влажным удушием тропической жары...

... Ночи были длинные и мучительны не только одержимостью одиночества. Он выходил на крыльцо, но то, что было на милях вокруг, можно было видеть с закрытыми глазами. Луна, холодная и мутная, поднималась над неограниченной бесконечностью снега. Он стоял на холодном крыльце, всматриваясь то в белое пространство, то, закинув голову, в мутный круг, опоя-

савший луну. Он поворачивал голову в сторону и остро вслушивался, пытаясь поймать самый отдаленный звук, смех, голос, или слова, так как слова никогда не теряются ни во времени, ни в пространстве.

Он возвращался, садился у окна, всматриваясь в него, как будто можно было видеть что либо через замороженное стекло. Поднимался опять, волоча ногу, чтобы вытащить чемодан с полустертым именем Мартынова, открывал его с неожиданной поспешностью, в то же время удерживая себя до последнего момента, хотя это совершенно не нужно было, так как чемодан был пуст, и только на дне его лежала пара маленьких башмачков, которые он брал с нерешительностью, словно желая поболтать ими на широко раздвинутых пальцах с неожиданно прорвавшейся нежностью, но вместо этого поспешно совал их обратно.

Собака внезапно настораживалась и поднимала голову, всматриваясь пытливо и напряженно в лицо его глазами, которые еще хранили мечтательный блеск своего таинственного мира желаний и томлений

Он отряхивал головой, заталкивал ногой чемодан под кровать, и садился снова думать о белом цветке, который, казался, только что сошел со снега, таким свежим и поразительным было его первое появление; о легкой поступи, которая казалась, не оставляла следа; о прекрасном цветке с лицом, у которого было две стороны, с глазами, у которых было два выражения, с губами, из которых одна была тонкая и вытя-

нутая, резкая и жестокая, и другая — мягкая и выпирающая вперед, влекущая и чувственная.

Чудо исчезло быстро, стерлось в короткое время, быстрее, чем его нога могла залечиться. У нее была своя манера говорить, больше о себе, но если она знала, что его не было вблизи, она смолкала. Она напевала про себя, словно никого другого не было дома, словно все, что только оставалось делать, было напевать не в тон, фальшивя, в рассеянной манере, собирая на своем маленьком лбу ряд морщинок. Затем она начинала говорить, сперва только небольшой фразой или вздохом о своих мечтах, которым не удалось — и по всем данным, никогда не удастся — сбыться. Ее слова звучали пустыми, и только единственно понятна была часть, когда она заговаривала о самоубийстве.

Он прислушивался, и ярость начинала медленно наливаться в нем. Он знал, что будь они сейчас в городе, а не в глуши затерянного пслустанка, она взяла бы телефонную трубку и сказала бы сдавленным от жестокости голосом, что при малейшем его движении она вызовет полицию.

Собака продолжала не сводить глаз с его лица, словно хотела подбодрить его, поддержать, заставить думать о чем либо другом, о прошлом, еще раз вспомнить о чуде, случившемся в ноябрьский день.

Она поворачивалась спиной к нему, и он мог видеть только ее плечи, шею и массу растрепанных волос, думая о маленьком злом создании, слабом, и в то же время сильном. Он начинал

думать о себе, о своей силе и о том, как он был слаб — тоже по своему, и внезапно вскипевшая ярость начинала утихать в нем.

Однажды, когда снег был особенно яркий и слепящий, у их дома послышался лай собак, запряженных в упряжке. Два туземца сидели в нартах, покрикивая на собак “ату, ату”. Когда они пустились бежать вниз по круглому холму, человек в передних нартах встал во весь рост и воткнул длинный шест перед нартой, чтобы замедлить расскат, и снежная пыль огромным блистательным облаком задушилось за ним.

Они вышли из дома на крыльцо, и долго смотрели вслед убегающим запряжкам, он с чувством восхищения от их бега и облака снежной пыли; она, потому что в нартах было двое мужчин. У них вдруг появилась тоска по людям, которые могли бы нарушить однообразие их жизни. Они почувствовали теплоту и дружбу друг к другу, неожиданную и тем самым радостную. Дружья и любовники, они поднялись на твердую кору сугроба, рука в руке, опять приближенные друг к другу в казалось бы счастливый день, который позже должен был превратиться в то, к чему они оба были уже давно подготовлены, и что стояло на грани трагедии на величественном фоне северной ночи.

Сумерки подошли в четыре часа, затем наступила самая длинная в году ночь. Лицо ее стало еще более пустым; она напевала что то про себя, временами принималась плакать и все чаще и чаще повторять, что она скорее покончит самоубийством, нежели схоронит себя в глуши,

рядом с человеком, который был калекой, нравственным и физическим.

Молчаливый и угрюмый, он слушал, смотря на ее профиль со странным чувством удовлетворения и ярости, с той щемящей горечью, которая так хорошо известна одиноким людям.

Он подошел к ней, тяжело опираясь на ногу, положил руку на ее плечо и заглянул в ее лицо поверх мягких волос, которые она завила днем. Ее рука лежала на бумаге. Она перечитывала несколько раз строки, написанные детским почерком, что она не винит никого, и ее глаза наполнялись слезами от жалости к самой себе. Она вздыхала, качала головой, и ее губы шептали о том, что нет ни одного человека во всем мире, который бы понял ее, и что она принуждена решиться на этот шаг, хотя она...

Он смотрел на записку и на ее лицо, обнаженное и пустое, которое хотело казаться добрым и великодушным. Он смотрел на ее рот, на одну мягкую губу и другую жесткую, так близкие и вместе с тем различные, двойственные и несвязанные.

— Неужели все это так! — спросил он, и его голос прозвучал не то лаского, не то с укором, и она кинула на него удивленный взгляд. Он сделал вид, что не заметил этого, и тем же голосом заговорил, что записка без подписи не имеет никакой силы, было неокончена, и так как у ней в руке было перо, то нужно было только всего секунду...

Он потрогал один из ее локонов, раскрутил его, чувствуя крепкий запах волос, следя за ее

двигающимися губами, заглядывая сбоку в ее глаза, которые после его слов стали вдруг напряженными и соблажающими. Ее рука сделала движение, затем остановилась и затрепетала, пока ее мысль витала о возможности дальнейшей игры. Она сделала еще одно пробное движение. Затем, после момента нерешительности и даже с вызовом, она подписала свое имя.

Он все еще держал свою руку на ее плече, больше для того, чтобы удержать ее на месте. Наклонившись, насколько позволяла нога, он вытащил из под скамьи старый наган и на ощуп, не сводя с нее глаз, проверил барабан.

Она бросила на него быстрый взгляд и отшатнулась. Ее лицо сменило несколько выражений, от слабой улыбки через сложное проявление отчаяния и страха, и с каждой переменной ярость росла в нем сильнее, но это была уже не та слепая, необузданная, так как в короткое протяжение времени он опять увидел с поразительной яркостью и даже с чувством нахлынувшей радости ноябрьский день и глухую комнату в конце балаганного коридора, заваленного остатками декораций, сценической мебелью, где можно было переждать и перетерпеть, вылечить разбитую ногу и срастить расщепленные кости. Там он увидел то, что никак не мог ожидать в таком месте и в такое время, но оно случилось и он мог назвать это только чудом от недостатка слов и неумения подыскать другое сравнение для неожиданного проявления слабого роста в двух-трех шагах от его кровати, который пробился сквозь цементный пол и распустился пре-

красным цветком, к которому он протянул руку и который отозвался теплом и юностью. Весь остаток дня и следующее утро, пока не вернулась она, он повторял в различных тонах и выражениях несколько строк, которые как ничто иное подходили к случаю, так как начинались словами “Любви молчаливое бремя...”

Так прошла зима. Весной она исчезла, но появилась несколько месяцев позже чтобы в той же комнате, где он привел к жизни разбитую ногу, дать жизнь мальчику, которому не суждено было сносить даже пары башмачков, для короткой жизни которого слово “суждено” звучало слишком значительно и важно...

Он еще раз прощупал барабан, чувствуя, как сильно и напряженно уходила из под пальца собачка курка, думая о напрасности и ненужности всего, что только еще больше наполняло его невероятно тяжелой печалью. Он вздохнул глубоко, словно в массе воздуха хотел растворить щемящую грудь боль и неудержимый гнев, свое внезапное желание покончить раз и навсегда. Осторожно он сделал движение, чтобы она не могла достать записки, и тогда уже насильно повернул ее и заглянул в ее обезумевшее и искаженное от страха лицо с чувством необычайного удовлетворения и законченности, что, в сущности думал он, должно было быть сделано много времени тому назад. Он еще раз глубоко вздохнул, почти захлебнувшись в вздохе, который показался ему самому самым страшным во всей его жизни, — и собака внезапно вспряла на

передних ногах и с потрясающим напряжением рванулась мощным прыжком на его правую руку...

...Мартенс неистово потряс головой и вскочил с места, с недоумением глядя на пассажиров, растянувшихся в тяжелом сне на скамьях и диванах. Он вышел наружу, мимо сонного диспатчера, мимо скамьи и цинкового бака, игравшего лунным отблеском, в открытое голубое пространство под невероятно высокую луну. Он стоял долгое время, с головой, закинутой назад, повторяя слова "Любви молчаливое бремя", как слепой, на ощупь, подбирая другие строки стихотворения, пока не вернулся опять к своим воспоминаниям...

...В часы удручающей тишины он выходил на крыльцо вслушаться в то, что звучало, как его собственное дыхание, нежели звук, похожий на свисток отдаленного поезда, вглядываясь с такой же острой напряженностью в темноту огромной пустоты, придавленный холодным пересечением вертикального и горизонтального измерения.

Он тяжело ступал на ногу, выкручивая ее, чтобы уничтожить или хотя бы частично отвести терзание ума и печаль сердца, вытравить иную боль, и только делая еще хуже. Он трогал свое лицо, чувствуя под пальцами запавшие глаза и тяжелые мешки под ними, острые скулы, трогая свои вздрагивающиеся губы.

В кроткие периоды успокоенности он замечал,

не без внезапного чувства облегчения, что собака не сводила с него глаз, что лучистое сверканье их внушало теплоту и понимание и приятно успокаивало его. Он садился, осторожно вытягивал ногу, устало сводил глаза и проводил рукой по лицу, чувствуя, как внезапно смягчалось оно, словно маска смерти, покрывавшее его, оживало под его пальцами. Он начинал думать об умиротворяющем покое, видя перед своими закрытыми глазами огромную морскую волну, медленно отхлынувшую после шумного грохота и удара о скалы. Он опускал свою руку, чувствуя, что в ней уже не было силы, с мыслями о покое, преданности и любви, но уже без отчаяния и горечи, без крепкой печали и боли, в состоянии невменяемости, чувствуя только, что собака не сводила с него восхищенных и восторженных глаз, как мать, наблюдающая за кризисом над головой ребенка, что она двигалась вперед, чтобы положить свою лапу на его руку и лизнуть ее, словно это была ее собственная, медленно заживающая рана...

Голос аэродромного диспатчера прозвучал опять, и в далеком расстоянии, у серебряной линии берега на черном силуэте пальм зажглись и засверкали рубинами в лунном свете огни самолета, внезапно прорвавшего тишину ревом прогревающегося мотора.

Мартенс оглянулся вокруг, окончательно уже придя в себя. Издалека, по проходу, мимо пассажиров, медленно двигался какой то предмет. Мартенс сперва не мог распознать, что это было,

но потом заметил, что это был пес, который медленно пробирается через массу ног, останавливаясь время от времени и принюхиваясь, словно ища кого то. Когда собака приблизилась, принюхиваясь с еще более озабоченным видом, тогда только Мартенс узнал в ней ту, которая лежала на сквозняке у входа и которую он трепал за уши и гладил по животу. Собака тоже узнала его, так как после первой нерешительной пробы она приблизилась вплотную и потянула носом, на этот раз с видимым облегчением и решительностью, затем сделала внезапное радостное движение и бросилась лапами на его колени, лизнув горячо шершавым языком его руки, словно в знак того, что в мире есть дружба, благодарность и преданность, что есть ответ на все, даже на случайную любовь и ласку.

Октябрь 1947
Сеул, Корея

Рассказ о голубых жилках

Когда рассеялся туман или что то другое, что застилало его глаза и мешало ему видеть, он нашел себя лежащим лицом вниз в мягкой лунке, которая, как он выяснил уже потом, была сформирована внутренней стороной чуть согнутого локтя. Его губы отмечали ровное пульсирование крови в двух маленьких жилках и он чувствовал волнующее тепло кожи... Но прежде, чем он нашел себя, он увидел другое, что глубокой радостью и страхом поразило его. Он передвинул свои губы и теперь его глаза были близко у голубых жилок: они вдруг увеличились и слились в мутную синеву. Когда свет немного осел и перешел в сумеречный, глаза привыкли к нему и уже не стало больно. Сквозь жилки — он уже не замечал их — он смотрел в безконечно глубокое пространство, которое открылось перед ним. Свет был неровный, мутноватый, только с противоположных концов полыхали далекие, то белые, то красноватые, зарницы. Шел ровный волнующий гул: как и свет, он наполнял его состоянием необъяснимого подь-

ема На дне этого пространства он заметил движение и, вглядевшись пристально, различил в нем неисчислимые миллионы начинавших идти людей. “Это истоки Жизни”, сказал он себе, чувствуя, что его глаза и уши заполняются чем то, что он не мог определить. Он закрыл глаза, и его губы вновь уловили тревожное пульсирование жилок. Он сделал жадный глоток, словно никогда до этого не дышал воздухом...

Он открыл глаза и вновь пригнулся к жилкам. Сумеречного света уже не было, не было и ровного гула, но с силой бились другие удары, и в их биении чувствовалась огромная мощь. Приближался свет, он шел от высоко бывшего красного фонтана. Поток бил почти до него густой, красной жидкостью, похожей на кровь. Удары рвали барабанные перепонки. “Это истоки Силы”, проревело в нем с мощью водопада грохота, и он почувствовал себя сильным и необыкновенно мужественным. Он сделал глубокий, отозвавшийся звонким эхом, вздох, словно его грудь была выкована из гулкового чугуна...

Жилки под его губами бились четким взволнованным пульсом и огонь поднимался от них.

Он уже не мог удержаться, чтобы не заглянуть еще раз в то, что сн правдиво и убедительно для себя назвал “истоками Жизни” и, затем, “истоками Силы”. Но то, что он увидел в третий раз, мучительно охватило его особенно сладостной болью. Вместо сумеречного света и красноватого полыхания щедро поднимался блистательный свет, заливавший до ослепления

глаза. Легкий ветер колебал его, и тогда начинало казаться, что ветер раздувает широкие полосы атласа. При колебании этих полос внизу с глубокими поклонами пробегали цветы всех сортов и окрасок и от них поднимался терпкий, благоухающий аромат. Лилась музыка, она заполняла его уши, и он улавливал в ней, кроме радостных звуков, бессвязные слова, обрывки песен, стихов... Он хотел пристальнее всмотреться сквозь сверкающие полосы света и увидеть откуда лилась музыка и голоса, но свет окончательно слепил его глаза и только слаще и радостнее трогал земной аромат цветов и мучительнее волновала музыка... Он сделал порывистый вздох до нестерпимой физической боли в груди, силы окончательно оставили его. "Это истоки радости жизни — Любви", — сказал он и не узнал своего голоса.

Он сделал движение оторваться и с трудом отвел в сторону глаза; перед ним был зеленый цвет, который играл всеми возможными только оттенками — от прозрачно-светлого до фиолетово-зеленого. "Это — море" — крикнуло в нем, и его предки, рождавшиеся, жившие и умиравшие на море, быстро пронеслись перед ним. "Это море", повторил он, и памятью предков знал, что не ошибся.

Он перевел глаза выше и увидел радостный желтый цвет, отливавшийся всеми оттенками от светло палевого до ярко желтого, который можно было принять в одно и то же время и за цвет льна, и цвет спелой ржи, за высохшую в степи траву и песок под солнцем пустыни.

“Это земля — степь и пустыня”, пронеслось в нем памятью других его предков, многими веками кочевавших по пустыне и навсегда запечатлевших ее желтый цвет. Два этих цвета слились вместе и приблизились к нему. “Это — женщина!” — с острым чувством щемящей сладости крикнуло в нем, и в ту же минуту, как бы угадывая его мысли и желая подтвердить правильность его догадки, она коснулась своей горячей рукой его взволнованной щеки...

Он окончательно пришел в себя, отделил цвет зеленых глаз от желтого цвета ее волос, и увидел на внутренней стороне ее согнутой в локте руки две маленьких голубых жилки, где он нашел себя, вглядываясь в истоки жизни, силы и радости, которые дали ему больше наслаждения, чем целые ночи, проведенные с женщинами...

Июнь, 1936
Свя Франциско

Танец одержимой нормы

Из за угла во весь опор неся на него на новом велосипеде Мики. Ему было шесть лет, и он все больше напоминал мать, но уже чувствовалось, что он будет значительно крупнее и выше ее. Мики чуть не сбил с ног Акимову, но в самый последний момент быстро увернулся и с громким смехом остановил свой велосипед. Другие дети ринулись к Акимову, как только увидели его, шумная ватага детей со всего квартала, привлеченная блеском нового велосипеда Мики. У одних тоже были велосипеды, у других ролики, у кого вся пара, а то только по одному на ногу, но все они неслись шумной стаей, как неистово возбужденные птицы.

Маленькая девочка ринулась в чулан под лестницей, где хранились их игрушки, стараясь с трудом выкатить оттуда трехколесный велосипед. Акимов вырвался из толпы звонких детей и тоже сунулся в чулан. Через момент, драматически шатаясь и хватаясь за голову, он сбвел всех испуганно выкаченными глазами.

— Где же мой велосипед! — прохрипел он

сдавленным голосом, и дети покатились от не-
удержимого смеха. Он тяжело опустился на
крыльцо, раскачивая головой в преувеличенном
ужасе. — Украли!

— О, дядя Федя, — закричали хором дети, — у
вас даже никогда не было велосипеда!

Они унеслись опять, раскатившись во всех
направлениях массой быстрого движения, смеха,
возбужденных голосов, велосипедных гудков и
звонков.

Акимов остался сидеть на крыльце. День был
теплый и ясный. За кустами, пахнущими горьким
запахом, далеко внизу виднелся залив и остров
Алкатраз. Далекие дома казались сиреневого
цвета, небо было темно-сине и цвет моря напо-
минал фиолетовую синеву весенних фиалок.
Дальний шум детей сливался с приглушенным
грохотом трамвая. Далеко за островом белый
пароход-паром пересекал залив, а дальше за ним
жарко горело солнце на грибоподобных газо-
линовых танках на холмах Ричмонда.

Он засмеялся при воспоминании о сценке с
велосипедом, но тяжелое чувство подавленности
вновь охватило его. За углом сверкающей мол-
нией пронесся велосипед, и он вспомнил, что се-
годня первое сентября и был день рождения
Мики.

— Первое сентября, — повторил он. — Как
близко и вместе с тем как далеко был этот день
от того дня, тоже первого сентября, когда при-
шел в порт пароход и на палубе показался чело-
век в костюме священника. Он ничего не говорил,
он даже не сказал “все там будем” или “все

в воле Бога”, хотя он и был русский священник. Он просто стоял на палубе, в стороне от озабоченно спешащих пассажиров, торжественный и понимающе-добрый. На его лице была тень улыбки, печальной и извиняющей, словно отражающей глубину его собственного горя, что в такой ясный день он должен был сказать женщине, которую видит впервые, о трагической смерти ее мужа. Маша сидела на скамье тихая и замкнутая, и сердце разрывалось при виде этой сдержанности, когда таким невыносимым казалось горе.

Акимов охотился на шумных и назойливых пассажиров, которые, видя ее и священника и чувствуя, что что то происходит, могли подойти и спросить в чем дело. могли взять за руку и отвести маленькую девочку, прижавшуюся испуганно к матери. Он старался не видеть ни ее, ни священника, думая, как все это было несовместимо с первым днем прибытия в Америку, со свежим дыханием моря, с оживленным грохотом, с шумом нарядного города.

Позже, далеко за полдень стоя с газетой в руках на ступенях Почты и глядя на кричащий заголовок “Землетрясение в Японии”, он все не мог оторваться мыслями от ее одинокой фигуры, и в то же время связать газетные новости с пранным очарованием улиц Токио, где он блуждал всего лишь неделю тому назад среди цветов и детей, игравших на тротуарах и напоминавших собою нарядных кукол. Теперь все там было в развалинах, в пожаре и смерти... А на палубе, в тот же самый день, под ярким

полуденным солнцем, сидела Мама, с лицом повернутым в сторону открытого моря, откуда утром пришел пароход, словно ей было не под силу видеть толпу сходивших пассажиров, пристань и нарядный город за ней, вскидывающийся на горы зеленым садами; словно там, в той стороне можно было еще не верить скупым словам священника, что в шахтах за два дня до ее приезда в обвале погиб ее муж..

— Сегодня тоже первое сентября, и Мики, счастливый и быстрый, как ртуть, носился на сверкающем велосипеде, потому что сегодня был день его рождения. Наташе теперь было восемнадцать, она уже не была той хрупкой испуганной девочкой, жавшейся со всей силой к матери. Теперь она была взрослой девушкой, живой и пылкой, с лучистыми глазами и милым, чистым лицом.

Акимов встал в волнении и поднялся одной ступенью выше. Ричмондский пароход уже прибыл к пристани на несколько минут, чтобы снова пересечь фиолетовый залив в зачарованности прекрасного дня. Розовые и сиреневые пятна вербены на скалистом берегу Алкатраза казались лиловым в ярком свете осеннего солнца. Давящая тяжесть охватила его с еще больше болью. -

— Это война, — крикнуло громко в нем. — Сегодня утром она началась в Польше и во Франций... Завтра она разрастется, как лесной пожар, и охватит весь мир...

Утром толпы задерживались у газетных киосков, настороженно и взволнованно читая новости.

Они казались встревоженными, что то на подобии тревоги и печали было на лицах этих вообще сдержанных людей. Никто из них не думал, что страдания войны начавшейся так далеко в этот ясный день, когда нибудь приблизятся к ним, но озабоченность и беспокойство были на лицах даже тех, кто только мельком бросал взгляды на газетные заголовки.

Послеполуденные газеты были уже полны деталей. Французские войска выступали на передовые линии. В торопливом газетном пересказе описывался лесок у подножья пограничных гор. Поднимался утренний туман. Редкий лесок был вероятно из сосен; в утренней свежести воздуха хорошо пахло сосновыми иглами. Молодой французский солдат впитывал прозрачный воздух, цвет утреннего неба, цвет красновато-желтой глины и камней, запах сосен... Акимов повторял про себя эти детали, стараясь острее всмотреться в эту обманчиво мирную картину, вплоть до физического ощущения свежести соснового запаха, но через всю эту мирную картину с газетных страниц и из экранов радио рвалось, заглушая все, зловещее слово "война", умноженное на страдания, горе, на миллионы потерянных жизней, матерей, жен, невест, детей...

Здесь, в конце Филмора, было тихо и покойно. Улица спускалась обрывом к садам и заливу. Медленно, почти тая в сиреновом воздухе белым сверкающим силуэтом плыл пароход-ферри за скалистым Алкатразом.

— Да, да... вот что давит... Война, четвертая

по счету в его жизни!

Ему было только восемь лет, но он тогда хорошо помнил имена Ляоянга, Мукдена, особенно Порт Артура, под которым был ранен его отец, умерший затем по дороге в госпиталь. Затем первая мировая, и после нее гражданская, совершенно изменившие курс не только его жизни, но почти полмира. И вторая мировая, которая только что началась этим утром...

Вот почему лица людей, находившихся так далеко от Польши и Франции, выражали столько чувства! Война, но не та мирная еще картина марширующих солдат через редкий сосновый лесок! Нет, а темное облачное небо после тяжелого артиллерийского огня... Мокрая земля, грязь, и дороги, забитые бежанцами, старыми и молодыми, выброшенными из домов отцов и дедов, несущих на себе все то, что можно было забрать в последнюю спешную минуту, обычно то, что менее всего нужно...

Забитые беженцами шоссе, ведущие из обстреливаемых городов. И люди в безопасности отдаленных стран, на ходу читавшие заголовки газет, становились задумчивыми и полными глубокой грусти. Но, в общем, кому из них было до того, что случилось в Варшаве, Роттердаме, Белграде, если это не задевало их самих или тех, кого они знали!? Конечно, было бы совсем иначе, если бы их собственные города...

— А не говорил ли это же самое французский фермер, клерк из Руана, лавочник из Кракова, молодой парень, идущий на мобилизационный пункт в старинной французской деревне, не

повторяли ли они эти же самые слова? Но сегодня небо над ними в темных тучах, и забиты дороги... А ведь это только начало! Сегодня дороги забиты в Польше, завтра они будут забиты во Франции, Югославии, в других странах, и, наконец, в России. Еще больше колючей проволоки протянут по земле и расставят рогатки на еще только вчера мирных улицах... О, Боже, не начнет ли французский народ, если не сегодня, то уже наверное завтра, двигаться куда угодно, в любое место, только подальше от зарева войны, унося с собой наспех собранные пожитки, все, что можно было собрать в последнюю минуту, прежде чем оставить отцовский или дедовский дом! И все дороги поведут к страданию и несчастью, и все они будут забиты беженцами и трудно проходимы... "У вас, русских, всегда тенденция преувеличивать! Не рассказывали ли вы о тех ужасах и невыносимых страданиях, через которые прошла ваша страна во время революции? Может быть вы просто легко воспламеняющийся народ и любите представлять все в темном и мрачном виде! Может быть у вас это такой порядок, или то, что потеряли, например, дом, за который осталось сделать несколько последних выплат, несколько сот рублей, и вот до сих пор не можете забыть!"

— Действительно, наш горячок! Мы говорили это только потому, что прошли через то, через что еще не прошли другие. Знает Бог, что мы не проливали слез из за разлитого молока... А дома? Да, некоторые потеряли дома, которым насчитывалось столетия. Нет, потеря была не

там, она была неизмеримо выше и непоправимее...

— Может быть мы и закрыли бы глаза на нашу взаимную жестокость и ненужные страдания тех трагических дней братоубийственной войны, но мы не забыли французского офицера в Константинополе, который ударил по лицу старого русского генерала. Что тот мог сделать? На его руках были другие, беженцы, безправные, он принял это молча... Но это не проходит, ничто не проходит, бесследно! Это не мщение, Бог знает, что это не так! Но это возвращается через молодого французского солдата, который марширует сегодня утром через бинвальский лесок... Видит Бог, я не желаю никакого зла этому неповинному парню, чтобы своей жизнью он заплатил за другого француза, за то, что случилось двадцать лет тому назад, нет! Мое сердце разрывается даже при одной мысли об этом!... В лагери для русских офицеров и их семей в Мессопотамии, за колючей проволокой, английский офицер подсчитывал своим стёком людей в строю. Щеголеватая, подтянутая фигура, типичный сын Альбиона, гордый и холодный, в ловкой форме, перчатках, со своим неразлучным стёком под мышкой, когда он не касался людей в строю и не заталкивал их обратно в шеренгу. В годы первой войны положение было иное и русская армия давала надежду и чувство безопасности Англии.

— Сейчас же русские офицеры и их семьи были одеты в солдатское нижнее бельё, мужчины и женщины одинакого. Те, кто дрался и умирал

в Восточной Пруссии, в Галиции, на Карпатах, под Варшавой, под Ригой, Перемышлем, спасая Францию в те годы, спасая жизни в Британской армии... Сегодня утром люди в английской форме покидают свою страну, и никто не знает, что ждет Англию... Опять, я не злорадствую! Нет... С тяжелым сердцем я думаю об этом... Но закон бесжалостен и справедлив в одно и то же время — забиты дороги, небо в тяжелых тучах после убийственного огня, и ноша делается все тяжелее с каждым шагом...

— Ведь есть же конец чему то! Последняя война унесла миллионы людей, и моя жизнь была одной из них. Что же будет теперь, когда опять наступают суровые испытания человеческому терпению! Сегодня немецкие войска двигаются к Франции. Они уже в Польше. Скоро очередь и за России... Когда это случится, будут забиты дороги и там... Не смывает ли кровь кровь!? Годы братоубиственной войны, мир хижинам и война дворцам... Пока не остались одни хижины... А теперь облака собираются над горизонтом, и зловещая поступь марширующих армий приближает нового врага. Тогда вчерашние братойбийцы будут смотреть открытыми и помраченными глазами на деяния рук своих и желать, чтобы они остались чистыми! Приходит и их час! Опять я не злорадствую! Это закон жизни, и все, что я могу сделать, это думать о нем бессвязно и скорбно, чувствуя, как обливается мое сердце...

Акимов встал и в неудержимом возбуждении сделал несколько шагов. На углу голоса детей

стали громче. Он яростно потряс головой, словно мог таким образом освободиться от навязчивых мыслей. В тяжелом раздумии и словно неся невероятно тяжелый груз, он медленно пошел в направлении тевяшевского дома, но не поднялся по лестнице, а завернул и прошел во двор. Вне себя от волнения, он дошел до забора, откуда виднелись стройные башни Голденгэйтского моста и горы Марины. Все казалось мирным и обычным, дом, крыльцо уже под светом послеполуденного солнца, веревка с вывешенным бельем, над которым небо казалось еще более синим. Двор, заросший цветами и травой, только под трапечией была протоптана детьми трапинка.

Словно это было только вчера, когда он впервые пришел сюда, Наташа тогда было не больше Мики. Она привела его сюда, чтобы показать, какие она делает фокусы на трапечии. Без устали болтая и смеясь, она раскачивалась выше и выше. Когда она была уже готова повиснуть на коленях, то заметила двух малышей, внезапно выросших словно грибы в дождь. Наташа покраснела, замедлила движение, ее голос стал просящим: — Жорж, уйди, пожалуйста, уйди!

Вначале Акимов не мог понять в чем дело. Он смотрел на нее и двух мальчиков, которые ухмылялись глупо и смущенно. Со стыдливой улыбкой на зардевшемся личике, Наташа повторяла умоляющим голосом, чтобы они ушли и она могла бы показать свой фокус.

Она была смущена, что один из малышей, тремя годами старше ее, увидит ее висящей вниз.

головой на трапеции. Ничего, что дядя Федя увидит ее штаны и голый живот — он всего на всего только дядя Федя, который таскал ее на руках, когда она была маленькой, но Жорж был ее возраста, приятель по играм, и это было уже совершенно иное...

Акимов рассмеялся, чувствуя, что становился сентиментальным, представляя ее опять на трапеции.

Но мысли о войне, начавшейся этим утром, опять унесли его. Это только начало, но война катится с увеличивающейся быстротой, постепенно втягивая другие нации. Бог знает, когда она приблизится, не потому ли мгновенное выражение озабоченности показывалось на лицах тех, кто на ходу прочитывал газетные заголовки?

Акимов опять пришел в невероятное волнение. Война наложит тень и на этот мирный, приятный дом его друзей, которые стали такими близкими и дорогими ему! Он повернулся, оперся спиной о забор. Там, за северным окном, терпеливо работал тихий, замкнутый в себе Андрей, заканчивая филморские скетчи для стенной живописи. Там жила Маша, теперь слегка полная, уже заметно седая, но все еще с быстрыми, легкими шагами, внимательная и сдержанная, покойная и добрая... Наташа, еще так недавно хрупкая, с острым личиком и испуганными глазами... Война заденет и их, затянет в свою ужасную воронку и этот приятный, трудолюбивый дом, где все так ладно живет под крепкими, помогающими друг другу руками Андрея и Маши.

Акимов свел челюсти и почти застонал... Ему

опять представились далекие земли, мирно текущие реки, поля после летнего урожая отдыхающие под теплым осенним солнцем... Все казалось покойным и миротворным; все меняло цвета. Поля, еще недавно зеленые, были теперь голыми и коричневыми в окраске, леса были золотыми и красными. Зелеными оставались только редкие сосны, и молодые французские солдаты проходили мимо них ранним утренним часом, когда иглы пахли так крепко, таща за собой пулеметы и мортиры... Вдалеке земли уже отдавала тяжелым раскатом полевой артиллерии. Впереди, блестя утренней росой под утренним солнцем, торчали ряды колючей проволоки... Позади... позади уже были забиты шоссейные дороги...

Громкие голоса детей опять привели его к тому месту, где он стоял, оперевшись о забор тевяшевского дома с тяжелым сердцем и опечаленным лицом. Он взял себя в руки, одел шляпу, медленно вышел на улицу. Мики неожиданно бросился к нему.

— Дядя Федя, вы не уходите? — Он поднял свое красное и возбужденное лицо с хитрым выражением в глазах.

— Ухожу ли я? Конечно, нет, Мики! Я только решил пройтись вокруг квартала. — Акимов посмотрел на него выразительно и подмигнул по заговорщичьи. — Мне нужно будет достать кое что... для кого то...

— О, — воскликнул Мики, притворяясь равнодушным, но насторожив уши.

— Ты подождешь меня, да?

— Да, — ответил он отсутствующим голосом,

оставаясь стоять с открытым ртом и замороженными глазами.

Акимов направился вниз по Филмору. Предвечерние газеты давали больше новостей о войне. Учащенным субботним темпом бился Филмор. Толпы собирались на углах, около газетчиков, пробегая быстро глазами по заголовкам, перебирая в кармане мелкое серебро или связки ключей и понимающее поглядывая друг на друга.

Когда передавались состязания футбола или бокса больше слушателей собиралось у магазинов радио. Там тогда в толпе стоял и занятой ремесленник, и торгаш, безделчник и пастор, все с одинаковым выражениями на лицах. Тогда было больше переживания и более нервно звенело серебро в карманах — этот неутомимый гимн Филмора.

Толпы женщин шли бесконечным парадом из магазина в магазин, толкая впереди себя коляски, набитые младенцами и покупками. У других младенцы были на руках, и они высоко держали их, показывая белую, желтую черную кожу и гордясь плодородием своего весеннего посева.

— А как же война, даже если она и началась далеко!? Не приблизится ли и она к Филмору? Тогда еще нужен будет сладкий посев прошлых весен!

— Кто думает о войне под защитой филморских арок? Даже в год страшного землетрясения Сан Франциско Филмор остался нетронутым. Разве ассоциация филморских купцов не воздвигнула эти арки во всю длины улицы, как знак признательность Провидению за чудесное

избавление! Уродливые? Кто сказал уродливые? Ну, это как сказать еще!...

— Конечно, и здесь есть темные стороны, даже трагедии, что и говорить! Ну, а сколько радости! Взять хотя бы этот парад колясок, эту массу розово-белых, желтых и угольно-черных плодов! Разве это не радость? Послушать только их громкий рев, посмотреть только как их руки тянутся к сияющим матерям! Это ли не радость!... Конечно, есть и печальные стороны, не нужно закрывать на них глаза. Вот, например, та женщина с бородавчатым лицом. Ей, действительно, не по себе сегодня — ее пьяницу-сына опять забрали покататься в полицейском патрульном автомобиле; и он еще не вернулся... А посмотреть на ту жирную ебрейку, продающую газеты рядом с бородавчатой? Тут и приглядываться нечего — в эту пору года она с точностью проверенных часов опять на седьмом месяце. Вот вот немного, и она выкатит свою коляску к филморскому параду, волоча позади свору других своих детей. Это ли не радость, а!

— Да, но война...

— Она не наша! Пусть другие болеют головой о ней... Она никогда не затронет нас...

— Да, да, другие тоже думали так... А сегодня они пробираются через редкий лесок, волоча за собою пулеметы в это необыкновенно мирное утро... готовые надеть противогазы при первом подозрительном признаке... Ах, как хорошо пахнет ранним утром хвоя сосен и земля такая сырая и свежая... Это не те шоссе́йные дороги, забитые несчастьем и страданием..

Акимов свернул с Филмора в боковую улицу, приближаясь к игрушечному магазину Глеба. Перед самым магазином он остановился, вспомнив сколько политических споров велось в нем. Он взялся за ручку двери, и его вдруг охватило такое тяжелое чувство подавленности, что ему даже стало страшно. С большой силой он преодолел себя и ступил на порог. По середине магазина, перед маленькой группой людей, опершись о прилавки, Норма, жена Глеба, сизокрасная мясистая немка с жабыими глазами, вне себя от радости и возбуждения, дико танцевала с вечерней газетой в руке.

Октябрь 1941
Сан Франциско

Остановившийся маятник

Еще темно, еще тот приглушенный мрак, который предшествует рассвету, тот таинственный час, когда все в природе — небо, земля, вода, деревья, трава, люди и звери ожидают чудесного появления дня. Знаки уже близятся, они в неожиданном порыве легкого движения воздуха, в полу-проснувшемся шопоте воды, в слабом трепете деревьев, повернувшихся во сне; они в прозрачности зеленоватого света, который своим призрачным прикосновением дает всему, что немо и мертво, признак одушевления в тот короткий промежуток времени, пока длится это таинственное время, так как все еще в тишине, без одинокого крика птицы, без шелеста полевой мыши... Те, кто осязают прохождение этого часа, наблюдая выжидательно за появлением рассвете на востока, думают о том, что время и жизнь одно и то же. Детей, рожденных в это предрассветный час, судьба отличает особо, так как появление первого света совпадает с появлением их жизни. Те, кто умирают в этот час, отходя мирно и безболезненно во сне, уносят с

собой значительность своего отхода.

Дэнис был разбит горем в то утро. Он тяжело опирался о стол широко раставленными руками, печально качая головой, и рассказывал Маше о смерти матери. Он вспоминал каждую деталь ее жизни и смерти: хотя не так много можно сказать о высохшем теле, прикованном параличем к кровати в течение десяти с лишним лет.

Маша слушала сочувственно, жалея всем сердцем, что этот большой человек был так слаб в своем горе. Он беспокойно поглядывал в сторону конторы выкаченными глазами, которые казались еще более светлыми от слез, пока она думала о том, что год назад, не удержавшись, она настойчиво советовала ему, чтобы он проявил больше решительности в деле со своим компаньоном, Швабером. — Если у вас мать прикована к постели, а сын пьяница, вряд ли вы были бы другой, — ответил он тогда.

Сейчас ей было жаль, что она коснулась тогда этого, и только то, что он сам искал ее сочувствие, помогало ей подавить в себе давящее чувство раскаяния.

Дэнис разговорился и его было уже трудно остановить, хотя время от времени он тревожно поглядывал в сторону, где мог быть Швабер. Его лицо загоралось печальной улыбкой, но она вскоре терялась в губах, которые не могли остановить потока слов; его глаза были обречены сетью беспокойных морщинок, которые так же двигались безостановочно, выделяя еще больше застывшую влажность глаз. Завернутые

выше локтя рукава открывали сильные руки с тяжелой выпуклостью вздутых вен и обильной порсслью седых волос. Сила была в его искалеченных ст работы суставах и искривленных пальцах, с толстыми, напоминающими черепаший панцыри, ногтями. Сила была и в его сухом теле, в его длинной спине, в костлявых плечах. И в то же время была слабость в тревожных взглядах, в его угодливости перед Швабером, в готовности услужить и угодить. Неоспоримая сила была в преданности и терпении, в течение долгих лет в отношении прикованной матери и пьяницы сына. Не были ли это слабостью, той слабостью, которая заставляет принимать все безповоротно вместо того, чтобы противиться ему? Маша всегда восставала, всегда боролась, ей была не понятна эта пассивность. Она знала что о а была сильна... Еще вчера Акимов как то упомянул вскольз, что он ненавидит себя за ту готовность, с которой он начинал примиряться со всеми несчастиями, которые встречались в его жизни...

Они оба вздрогнули и встрепенулись. С грохотом хлопнувшей двери Швабер вылетел из своей конторы. Дэнис выпрямился и поспешно взялся за работу, лежавшую на его столе.

— Ах, черт всех побери, свет перегорел! — проревел Швабер. Дэнис сделал поспешное движение броситься на его окрик, но Маша стояла на его дороге, положив крепко свою руку на его скрюченные пальцы, и он остался на месте, только его лицо, со смешанным чувством печали, ожидания и страха, было повернуто в сторону

Швабера.

— Моя мать скончалась, — проговорил Дэнис, борясь с собой, и его глаза робко моргнули, когда Швабер приблизился к нему. — Сегодня утром, перед самым рассветом, — добавил он, словно эта подробность придавала особой вес, оправдывая его незанятость десять минут после восьми утра.

— Что? — проревел опять Швабер. — Что, — и его толстые щеки надулись яростью. — О, — внезапно остановился он. — Жаль.

Он посверкал глазами на Дэниса, уставившись на него, словно видел его в первый раз.

— Что-ж, люди умирают каждый день, а жизнь идет своим чередом, так что какая же разница! Если вы згааете, что я хочу сказать! — Он посмотрел на Дэниса с выражением человека, который может легко убедить кого угодно.

— Правда, люди умирают каждый день, — покачал печально головой Дэнис, — но как то все это иначе, если это собственная мать!

— Не знаю, вам, конечно, виднее, — Швабер достал сигару и стал торопливо раскуривать ее, обжигаясь спичкой. Его щеки задрожали опять. Он яростно затянулся сигарой и отбросил спичку, словно боясь, что она взорвется в его руке. — Не знаю... ничего не могу сказать... — заметил он в промежутках между раскуриванием. — Но вам лучше заняться работой, это так рассеивает мысли... Если вы знаете, что...

Маша отошла. У себя в конторе она подошла к своему столу и перевернула несколько страниц бухгалтерской книги. Сила, слабость и жесто-

кость и, сверх этого, безропотное подчинение... Как странно, что еще вчера вечером Акимов говорил об этом, рассказывая о Галле, молодом цезаре, которого двоюродный брат, император Констанций, отозвал из Антиоха. Цезарь знал, что он был обречен, особенно, когда на последней остановке ему обрили голову, чтобы топор палача мог свободно упасть на его полную девичью шею. Легионный брандмейстер тщательно подокнул простыню вокруг мягкой шеи, игриво коснувшись ее холодным острием бритвы, и цезарь издал жалобный крик... Сила и слабость, покорность и трагическая неизбежность... Маша повторила его слова, словно они были на стражице, между записями прихода и расхода.

Это была область Акимова, ничего не имеющая общего с переплетной фабрикой Швабера и Дэниса, даже несмотря на попытку извратить исторические события в какое либо подобие параллелизма. Иногда трудно было распознать, где Акимов был серьезен, но он не шутил, когда говорил о жесткости через слабость. И он имел в виду Дэниса, а не кого либо другого, когда упоминал об этом. Маша помнила ясно ту сцену, одну из многих... Например, с этими переплетами, которые были переданы в другую мастерскую. Дэнис тщательно просмотрел их, каждый в отдельности, и нашел, что на нескольких листовое золото было слегка вытерто. Он вызвал хозяина той мастерской, и они оба, почтенные, седоволосые, с честными хорошими лицами, вглядывались пристально в маленькие дефекты, и Дэнис тогда скорбно переводил глаза

на другого, словно ожидая, что тот ответит надвигающуюся мировую катастрофу. И другой отвел. Он кашлянул в кулак и сказал неестественным голосом; — хорошо, пришлите мне бракованные и я их переделаю за свой счет.

В сущности, ничего не значило, что среди семи с половиной тысяч полторы дюжины не сверкали так золотом, как другие. Но это был случай жестокости через слабость... Маша опять пожалела, что подумала об этом.

Она подняла голову над книгами и посмотрела, что делалось в мастерской. В дальнем углу Швабер стоял на лестнице, и по тому, как он жестикулировал, она знала, что иного наслаждения не могло быть для Швабера, как говсрить о слабо державшемся абажуре, о запутавшемся шнурке и сломанной нарезки винта. Он нашел занятие, которое ему нравилось, и он был рад, что оно займет его энергию и внимание, так же как и внимание Дэниса, на час или полтора.

Дэнис стоял там, где она оставила его, с глазами, прикованными к потолку, торжественно кивавшего головой в знак согласия со Швабером, что, конечно, давно уже была пора сменить лампочку, что если бы ни постоянные заботы Швабера о мастерской, не прекращавшиеся даже ночами, когда он должен был бы спать и набираться сил для следующего дня. и Бог знает, как он занят другими делами и работсй, которую никто не может вести, и если бы ни его заботы и думы, мастерская давно бы уже провалилась к дьяволу, в его мастерскую, именно, туда! со всеми вместе!

— Почему же я принимаю это все так близко к сердцу, — внезапно спросила Маша, чувствуя, что у ней самой глаза заполнились слезами. Она обвела глазами контору, мастерскую, словно хотела убедиться, было ли это на яву, или решить, каким образом она попала сюда, к Шваберу и Дэнису? Как отнеслись бы другие к горю Дэниса? Джо спросил бы: “а сколько лет старушке? Семьдесят восемь! Так какого же...” и он сделал бы движение, что он знает, что в таких случаях не упоминают дьявола. Тони, у которого всегда было готово словцо на языке на всякий случай, заметил бы: “какой удар! Ведь это надо пережить!”

Роза, мягче мужчин, остановилась бы на минуту и опустила бы голову, но если Дэнис увлекся бы подробностями, она унеслась бы быстро, не дав ему опомниться, и его слова потерялись бы в стакатном перебое ее высоких каблучков. И тогда все служащие и бросили бы работу, чтобы проводить взглядами волнисто-задорное движение ее тела. Тони при этом сказал бы что нибудь что вызвало бы, как все да, смех, и Роза остановилась бы, улыбаясь с откровенной бесстыдством, чтобы заметить: “ладно, ладно, малютка!”

Она же слушала его внимательно, заглядывая сочувственно в его лицо, скорбное и торжественное. но когда оно загоралось слабой улыбкой, то опять становилось простым. И опять мысль о силе и слабости заставила ее задуматься, и решить, что, пожалуй, все же больше силы, нежели слабости, даже если и нужно было так

много боли, чтобы обнаружить ее.

С невидящими глазами она перелистывала страницы книги, нащупывая в кармане платок. Прошла через всю комнату, все с теми же отсутствующими глазами, открыла свою сумочку, в которой была записка Андрею, которую она забыла передать вечером. Да, да, Андрей, подумала она, чувствуя сразу облегчение. Андрей, высокий, неуклюжий, замкнутый в себя и в то же время ребяшливый. В нем была сила, борющаяся со слабостью...

— Нет, нет, не так, — зашпeshила она перебить свою мысль. — Нет даже ни малейшего сравнения между ними!

Она отвернула лицо и вытерла слезы.

— В конце концов, ведь я только работаю здесь, — пыталась она уверить себя и побороть в себе чувство подавленности, которое все больше охватывало ее. — Нет, не то, не то, — добавила она.

— Что это, не плачете ли и вы случаем, — вскричал Швабер с удивлением, влетая возбужденно в контору. — Не из-за этого ли... — и он сделал движение головой в сторону Дэниса. — Бросьте, — прокричал он уже за дверями конторы. Через несколько секунд он опять просунул свою голову с трясущимися щеками. — Бросьте, если вы знаете, что я хочу сказать!

— Нет, конечно, я только работаю здесь, — повторила Маша про себя, подвигая к себе работу. Она повернулась в сторону Швабера, но его уже не было в конторе.

Швабер и Дэнис разговаривали в мастерской,

верней говорил Швабер, а тот только время от времени поддакивал и приговаривал “совершенно верно” и “конечно”. Швабер уже быстро приближался к тому состоянию, где он обычно терял последний запас своего небольшого терпения и начинал бесноваться. Это была хорошо уже известная игра кошки с мышью. Сначала Швабер спросит Дэниса — где это у вас лежит? Спросит приятным голосом, даже с заискивающими нотками, кладя голову на бок и его глаза будут сиять теплом и добротой.

Вместо того, чтобы сказать — поищите сами и оставьте меня в покое, я занят, — Дэнис попадется на приманку, и укажет, где найти то, что он ищет.

Швабер еще будет кротким, как ягненок, и даже стекла его очков будут сверкать удовлетворением. Но на полдороге он вспомнит, что ему нужно было совершенно другое. Опять Дэнис оторвется от своей работы и поспешит на помощь. Вот они уже вдвоем выдвигают ящик за ящиком, переворачивая столы и полки в поисках не зная чего. Стекла шваберовских очков продолжают сверкать, но в них уже больше злорадства. Его жирные щеки опять начнут вздрагивать, и в ответ задрожат руки Дэниса. Голос Швабера к этому времени уже потеряет свою бархатность и вкрадчивость, станет жестким и жестоким, с оттенком очевидного издевательства.

— Оказывается, что вы даже не знаете, что делается у вас в мастерской! К сожалению, время от времени мне приходится полагаться на вас, но, действительно, оказывается, что если не по-

заботиться самому, то никто ничего не сделает!

Затем начнется продолжительный поток слов, жалостливых к себе, оскорбительных для других, угрожающих, злорадных. Он просто не может понять, даже отказывается понять, что он не может найти поддержку и помощь в других! Даже не то, Бог с ней, с помощью, но никто даже не может посмотреть открытыми глазами на ту огромную ношу, которую он несет на себе. и знает тот же самый Бог, что он работает так тяжело, что у него даже начинают коситься глаза, и ему уже чертовски трудно видеть ими, вот почему ему иногда, иногда! приходится полагаться на своего компаньона, но это оказывается совершенно бесполезно и безнадежно, Бог веда-ет, что у него на уме, когда он работает, все, что угодно, только не работа, и это факт, евангельская правда! Можно говорить, просить, умо-лять как друга, как соработника, хотя ведь уже так хорошо известно, что из этого решительно ничего путного не выйдет, если они знают, что он хочет сказать!

После этого, как он уверит себя в этом, он решит, что время броситься в работу, чтобы показать, как нужно делать ее правильно. Он уже сменил лампочку, никто не задумался о том, что давно была пора сделать это. Но все это еще пустяки по сравнению с тем, что он должен сделать, чтобы опять поставить на ноги мастер-скую. Он уже был там, где работал Дэнис, и руки бедняка тряслись от волнения и выкаты-вались глаза. Шваберу нужно было знать одно, другое, почему это сделано таким образом, а,

то — иначе. Почему Дэнис продолжает делать это так, когда он, Швабер, возвращаясь вчера вечером домой с работы и чуть даже не проехав лишнюю станцию в заботах о мастерской, решил сказать ему, что другим способом будет гораздо лучше и вернее... Хотя, конечно, он знал в то же самое время, что совершенно бесполезно говорить или делать что либо, так как, никто даже пальцем не пошевелинет, уже не говоря, чтобы воспользоваться советом! Хорошо, отлично, он ему не сказал, как именно нужно делать, а теперь, конечно, он уже не скажет никаким образом, даже если матерская и провалится к самому дьяволу в преисподнюю! Пусть Дэнис делает так, как начал, пусть! Но пусть он и вспомнит его слова — и это факт! — что все придется переделывать иначе. В конце концов, какая разница! Они все равно теряют деньги на этой работе! Отчего же не потерять еще больше? Он спрашивает это невинным голосом и его лицо опять принимает выражение умиленности и даже смирения, словно он хочет сделать себе исключительное удовольствие. Все равно, фабрика идет в одном направлении, в каком — даже не надо говорить, и это факт! об этом не может быть даже двух мнений, если Дэнис знает, что он хочет сказать!

Швабер крикнул Маше, чтобы она принесла образцы прошлых работ. Когда она принесла целый ящик, Швабер уже потерял интерес, он только вывалил содержимое на стол Дэниса и разбросал все руками.

— Забудем об этом, — крикнул он, принимаясь

лихорадочно раскуривать сигару и обжигая пальцы, — и давайте лучше примемся за работу!

Это было по шваберовски. После того, как он выбьет всех из колеи и приведет Дэниса до нервного расстройства, он неожиданно бросит все и скажет, — забудем об этом!

Дэнис счистил свой стол, стараясь сосредоточиться на работе. Перед ним была развернутая страница рекламы компании, приготовляющей консервы. Он повернул голову, покачал ею, стараясь отряхнуть от себя упорные мысли, но его глаза упали на строку рекламы, его лицо озабочилось печальной улыбкой, и он прочел вслух: “Мать уже не будет больше готовить фарш-мак!”

— Что? — проревел гневно Швабер. — Так вот, что занимает вас на работе!

Дэнис стоял придавленный и смущенный, его голова тряслась и глаза, опять посветлевшие от слез, смотрели на Швабера, словно хотели увидеть глубину его жестокости.

Маша отвернулась от окна мастерской и придвинула к себя телефон.

— Ты, Маша? Чтонибудь случилось? — В голосе Андрея была озабоченность. Она взглянула на мастерскую в нерешительности, прикрыв трубку телефона рукой.

— Нет, ничего особенного! Просто решила позвонить тебе... Что ты делаешь? Не мог бы приехать сюда на завтрак и встретить меня! На том же самом месте, на углу? Хорошо... Нет, правда, ничего не случилось!

Маша знала, что ей нужно самой высматривать Андрея, так как он уже наверное был занят чем нибудь. На усложненном углу его не было. Она оглянулась вокруг, стараясь найти в полуденной толпе его фигуру. Что то знакомое виднелось выше по улице, у забора, за которым ремонтировали дом.

Андрей стоял, разглядывая постройку и рабочих, сидевших на лесах с мешками завтрака. По его лицу, по всей фигуре Маша чувствовала, что он хотел бы зарисовать их, но в то же время стеснялся привлечь внимание толпы. Его рука делала движения, словно повторяя линию рисунка.

Маша просунула свою руку под его и прижалась к его рукаву, чувствуя, как сразу ей стало покойно и хорошо. Андрей даже не пошевелился, словно она была с ним все это время, держа его под руку.

Они прошли в кафетерию, выждали свою очередь в линии, и когда сели с подносами завтрака за маленький стол, только тогда казалось, что Андрей заметил ее. Он улыбнулся, растянув при этом широко рот, открыто и вместе с тем виновато. Как часто было с ними, они сидели, стесняясь на глазах у публики, не зная о чем говорить.

Они вышли наружу и ясный осенний день показался им еще более ярким. Она хотела взять его под руку и опять прижаться к нему, но он ступал длинными шагами, то опустив голову, то внимательно и даже удивленно поглядывая по сторонам.

Не доходя до фабрики, она поспешила расстаться с ним, не желая, чтобы ктонибудь из служащих видел их вместе.

Андрей уже не хотел возвращаться домой. День был особенно приятный и теплый. Он был рад, что Маша вызвала его и оторвала от работы. Медленно, поглядывая по сторонам, он направился к Маркет стрит.

У Третьей улицы, в переулке, позади здания газеты "Экзаминер", маленькая группа уличных проповедников сочно и громко пела гимн "Приди, Иисус, до сердца моего", и их голоса теплыми волнами плыли над толпой на Маркет стрит.

Один из певцов был в полосатом костюме, слишком узком и тесном, и в большом выгоревшем котелке, небрежно надвинутом на затылок. У него было мясистое лицо с красными висящими щеками и желтые, как у таракана, бровями, которыми он двигал с поразительной живостью и изобразительностью. Второй был в овероле и светре. Он стоял позади других, с руками в карманах, откинув назад корпус и задрав кверху голову. Третий, очевидно вожак, надвигал край мягкой шляпы на вспухшую щеку и сверкавший свежестью синяка глаз.

У них были скошенные рты и задранные головы, и они пели полными голосами, направляя звуки высоко над толпой, наддвигающимися крышами трамваев, далеко по Маркет стрит, вплоть до подножья гора Твинс Пик. Казалось, что все вибрировало с гимном — стекла окон

величественных зданий, звенящая сталь трехго-
ловых фонарей, флаги, сверкавшие в движении
теплого воздуха. Пение лилось выше в про-
зрачно-синее небо, к подвешенной клетке высоко
над плоской крышей небоскреба, в которой си-
дел человек, новый герой Америки того дня,
коротая свое никчемное время.

Специальностью этого человека было сидение
на флагштоках небоскребов, занятие, мощной
волной захлестнувшее всю страну в эту, по ис-
тине, трагическую эру. Больше и больше людей
покидало свои семьи, дома, машины фортуны,
в которых за пятак можно было выиграть
двугривенный; своих подруг, угловы́е кабаки,
работы и биллиардные, чтобы взобраться на
флагштоки небоскребов и там сидеть, не зная
ради чего.

Волна сумасшествия разнеслась по стране с
быстротой прожорливой эпидемии. Единственно,
что пугало и подстрекало не терять время,
было опасение, что скоро не останется ни одного
незанятого флагштока. Трудно было ожидать,
что для этой цели будут строить новые небо-
скребы, чтобы снабдить флагштоками менее
проворных, к тому же общее мнение было тако-
во, что если кто и пропустил захватить во вре-
мя себе место для сидения, то ему, кроме само-
го себя, некого винить.

Ничего нового, конечно, не было в страстном
порыве ославить себя. Древний мир знал арены,
ипподромы, гладиаторские состязания, бега ко-
лесниц. У Средних Веков были турниры, и мно-
гие доблестные рыцари отправлялись в отваж-

ные экспедиции, хотя здесь следует добавить, что зачастую они были такого безпредметного характера, как, например, поиски ноздри Св. Иакова, но все же они были отважны и увлекательны.

Правда, многие из таких доблестных походов пресекались незадачливыми явлениями, как преждевременная потеря головы или порабощение благородного рыцаря и продажа его в рабство, но все равно, барды и менестрели складывали о них сказания и песни, распевали их при королевских дворах и в замках, вдохновляя других на подвиги.

Их слушали с увлечением и вдохновением, и сердца юношей и женщин загорались жаром походов, у первых рыцарского характера, у последних — по причине их самого великого устремления — любовного.

Были и другие развлечения, невинные, увлекательные. Были даже душеспасительного характера, как, например, сжигание еретиков для приготовления их душ путем очищения к вечной жизни. Были ораторские турниры и конкурсы, великие шахматные состязания, где игроки часами застывали в загнипнотизированном столбняке безмолвных комнат.

Таким образом ничего не было нового, хотя чрезвычайно печально, что в короткую эру 1935–1939 годов нельзя было найти ничего более путного, кроме сидения на мачтах, ради только того, чтобы увековечить свои имена.

Несомненно, что была настойчивая нужда в чем то новом и необычном, но казалось, что

почти все было уже перепробовано в свое время. Никто, конечно, не хочет подражать другим и человек сегодня не хочет идти по стопам вчерашнего. У него есть своя гордость и он хочет быть ответственным за свое поколение. Он не хочет уступать. Мир был бы в тупике, если смелые люди не отваживались бы в поисках чего то нового.

Каким же образом все это началось? Вероятно кто то, давно уже безработный и махнувший рукой на все, посмотрел на мачту одного из нью-йоркских небоскребов, и смелая мысль пронзила его давно не работавший мозг. Он сидел всюду, где только можно было сидеть: в пропитанных нищетой комнатах городских и уездных организациях помощи, полируя последней парой штанов деревянные доски скамеек. В промежутках он сидел на ступенях городских библиотек и почтамтов; сидел чуть ли не на всех скамьях парков; сидел в городском участке, как не имеющий определенных занятий, сидел, чтобы сделать сидение совсем полной и законченной профессией. Ничего нового уже не оставалось ему, поскольку касалось вопроса сидения. Это было единственно то, что он делал за последние годы.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда он взглянул на мачту, дерзновенная мысль бросила его в лихорадочную деятельность.

Но может быть что либо совершенно другое заставило его броситься на это отважное предприятие: вздорная и крикливая жена с легкомысленной страстью к угловым кабакам и приятелям мужа; неряшливая, шумная теща, с сизо-

малиновой кожей на лице и мокрыми от беззубого рта губами; свора драчливых сорванцев. Может быть душа его стремилась вырваться к одиночеству свободы, или удушливый воздух благотворительных организаций и ущелий нью-йоркских улиц заставил его рвануться в неутолимой жажде к свежему воздуху на высоте трехсот с лишним футов. Или, быть может, до страсти одержимости он был охвачен одной мыслью взобраться так высоко, чтобы оттуда можно было плюнуть на глупо вертящуюся землю!

Что бы то ни было, какие причины ни заставили бы его двинуться на этот терновый путь к славе, однажды утром он взобрался на небоскрежный флагшток и после некоторого устраивания и возни окончательно укрепился на самой верхушке его, гордый своим достижением, но еще не так, как следовало бы быть, если бы он знал, что этот момент ознаменовал начало новой эпохи, и что история открыла новую страницу человеческой стваги.

Он еще повертелся немного, слегка неуверенный и смущенный, и только затем посмотрел вниз — на всю страну, захлебнувшуюся от восхищения!

Это было смело, ново, непревзойденно! “Нью Йорк не может заткнуть нас за пояс!”, воскликнули ревностные граждане других городов. “Разве у нас нет отважных людей, насидевшихся в благотворительных комнатах, или нет флагштоков для желающих подвизаться на поприще сидения?” Так или иначе, но в короткий период трех-четырех лет новая волна сумасшествия

разлилась по всей строне. Жизнь почти прекратилась на уровне улиц, почти потеряла притяжение и интерес, зато расцвела необыкновенно пышным цветом высоко в воздухе, где на неисчислимых флагштоках, или в клетках, подвешенных с них, смельчаки выковывали новую судьбу.

Андрей не удержался, чтобы не зарисовать фигуры певцов в переулке за Экзаминером, затем направился в потоке полуполуденной толпы по Третьей улице в сторону рабочих кварталов.

Уличные продавцы бели быструю торговлю, сбывая лекарство из змеиных вытяжек и настоя чешуи, чудодейственную жидкость для сведения пятен, переточенные бритвенные ножи, мыло, жвачку, шнурки для ботинок. В бойких переулках, осторожно поглядывая вверх и вниз по улице, продавцы сбывали с рук быстро расходящийся товар из карточек, и толпа наваливалась друг на друга, тяжело сопя от волнения, чтобы хотя бы мельком посмотреть на них. Человек в белом халате нетерпеливо ходил у своего столика с прибором, стараясь оторвать сшипшим голосом хотя бы одного из толпы, чтобы проверить за четвертак давление его крови. Безработные рабочие, поминутно сплевывая, толкались бесцельно около бюро найма труда, время от времени поглядывая на пустые черные доски, словно ожидая там личного приглашения, или вызова, которые они не могут пропустить, делая это больше по привычке, чем в надежде найти что либо.

Из дверей дешевого отеля высовывалась женщина, заглядывая в лицо каждого встречного с тем радостным изумлением, словно он был ее давно потерянный муж. Из угловой пивной выкатился невероятной толщины человек с малиновым лицом, почти плывя в волнах пивного воздуха, который он выдувал своим астмическим дыханием.

Андрей хотел пересечь улицу, когда дорогу ему загородил медленно двигавшийся автомобиль, в котором сидел человек с налитыми кровью глазами и с лицом, напоминавшим молодое мясо, прикованный цепью к рулевому колесу.

Сумерки нависли над городом. Рабочие, ремонтировавшие трамвайные пути на Маркет стрит, выставили красные фонари на кучах вывороченного камня. Заметно редели толпы, ожидавшие трамваев. На Маркет и соседних улицах полным светом вспыхнули огни, и когда опустилась ночь, величественная панорама города остро выделилась под потемневшим небом. Огромные неоновые рекламы загорались одна ярче другой, заливая своим блистательным сверканием скромную вывеску на одном из зданий "Иисус есть Свет".

Здания, обрамляющие Юнион сквэр, казались массивными и таинственными, словно охраняющими свою замкнутость в этой, притихшей к ночи, части делового райсна. Только в некоторых окнах горели одинокие огни, бросая отблеск на безлюдный сквэр с одинокой колонной Крылатой Победы. За этими строгими зданиями

вздымался массив медицинского Здания, тысячами залитых светом окон создавая впечатление блистательного фантастического замка.

Но человеку, затиснутому в клетку, подвешенную с флагштока, было не до любования волшебной панорамой ночного Сан Франциско. Он проклинал вся и все, и если шум движения на Маркет стрит остановился бы внезапно, люди внизу услышали бы с высоты проклятия и хулу такой потрясающей выразительности, какой мир не слышал с времен израельских пророков.

Может быть его добрые родители хотели сделать из него пастора или владельца небольшого скобяного склада, и с простительной гордостью следили за его ростом, радуясь своим надеждам о его будущем. Может быть он сам, еще в невинном детстве, видел себя отважным пслисменом или Нат Пинкертоном, всегда выходившим сухим из невероятно страшных схваток с :анстерами, или машинистом огромного ревущего поезда. Может быть в дни бурной юности он мечтал о работе учеником у водопроводчика с достаточным количеством мелкого серебра в карманах, чтобы играть на пяточковых машинах фортуны. Может быть его первая подруга любви мечтала видеть его ловким адвокатом или автомобильным пгодавцом, а вместо этого он висел в клетке, подвешенной с флагштока, как остановившийся маятник.

И так он источал громкие и горькие проклятья! Волшебная панорама, фантастические здания, напоминающие средневековые замки, горевшие в полумраке городской ночи, огромный

Марк Хопкин Отель, казавшийся легким и невесомым, словно плавающий в розово-коричневом воздухе. Золотая паутина Сан Франциско-Окландского моста, цветное ошеломление неоновых реклам вдоль Маркет стрит — все это только [напоминало ему, что он был затиснут в маленькую клетку в ненужном и идиотском достижении Бог знает чего!

И человек, прикованный к автомобильному рулевому колесу, лицо которого напоминало сырую котлету, так же источал горькие, на молчаливые проклятья. Он завершал девяносто второй час непрерывной езды по городу с редкими пятиминутными перерывами для чашки кофе. Его мозг был в оцепенении, налитые кровью глаза с трудом боролись со свинцовой тяжестью век, и рука сидевшего рядом с ним наблюдателя была готова в первый же момент обморока, схватиться за выпущенное рулевое колесо.

За эти девяносто два с лишним часа жизнь показалась ему такой отвратительной, какой никогда раньше не казалась ему; рев запечатанного мотора, с которым он состязался в выносливости, шелест шин, бесконечные улицы и встречные автомобили множились в его вымученном мозгу в миллионы раз. Сопровождавший его страж, который должен был не спускать с него глаз и не давать ему уснуть, стал таким невыносимым, что только за один его голос в неумолкаемой болтовне можно было его убить.

Но что хуже всего было, это цепи, которыми он был прикован за руки к колесу. Они становились все тяжелей с каждой минутой. В его

воспаленном мозгу, сквозь туман пытки, они создавали связь с другими цепями, которые могли носить его предки столетия назад, в средние века, в древнем мире, или даже тогда, в те отдаленнейшие времена, когда люди, открыв железо, придали ему форму цепей. Он даже никогда не думал, как ясно порой могут встать вещи в дурманном оцепенении мозга!

Он отдавал себе смутный отчет в том, что эти девяносто два часа не дали ничего. Борьба человека с машиной была в такой же категории, как схоластические дебаты относительно того, могут ли сорок ангелов уместиться на острие иглы. Он не думал, конечно, о средневековом диспуте. Его жизнь началась с эрой автомобиля и внутренние части мотора интересовали его больше, чем подобные же части в нем самом, не говоря, конечно, о других. Но он уже начинал осознавать, если еще не вполне убедительно, ненужность всего этого предприятия. Его испытание не могло вдохновить на одинокий перелет через океан. Оно не могло помочь молодой девушке, слушавшей пение Армии Спасения на углу Третьей и Маркет, с отчаянием зажимая в руке клочек газетного объявления: "Девушка в несчастии найдет помощь и утешение в Армии Спасения". Оно не помогало Поле, так же стоявшей перед таким же хором с тем же самым объявлением, надрывая свое сердце, не зная на что решиться, и два месяца спустя чуть не умершей в луже собственной крови в одинокой комнате убийственно мрачного дома на Филмор стрит. Оно не отзовется на патетически-скорб-

ные слова Дэниса: “Мать уже не будет больше готовить фаршмак!”

Оно не поможет никому и ничему, ни борьбе с детским параличем, ни уничтожению депрессии и безработицы. Оно не даст ни поддержки, ни надежды отчаявшимся. Все, что оно может сделать это превратить человеческое лицо в сырую котлету и подготовить катастрофу, если рука сопровождающегося запоздает на дробь секунды...

И если прикованный человек, пересекая в этот момент Маркет и Третью улицу, выиграет неожиданно соревнование, и заглохнет запечатанный мотор, с отчаянным захлебыванием выработавшихся пистонов, то он услышит в наступившей тишине громкое и горькое проклятие сверху, чтобы узнать в нем отголосок своих собственных ругательств.

Но запечатанный мотор не сдал, и человек приготовился встречать свой девяносто третий час, с самой трудной частью еще впереди.

Было ли это нужно для славы? Какая слава в том, если сырая котлета побьет запломбированный мотор? Для науки? В лабораториях, за чертежными столами, за экспериментами, да, но не с цепями на руках. Ради денег? Никакие деньги не стоили состояния полудодержимого ума и отвратительного ощущения железа на руках. Ради человечества? Чуткие пальцы на горле и губах глухонемых детей, учащих их говорить, но не пальцы, прикованные к колесу. Ради достижения? Счастья? Как жертва сегодня ради тех, кто придет завтра? Ради триумфа?

Он извергал хулу и проклятия сквозь вспухшие губы, крутясь по городу девянсто третий, девяносто четвертый час, мимо мирно спавших домов, темных конторских зданий, фабрик и магазинов, под клеткой флагшточного сидельца, мимо освещенных прожекторами стен Колизея.

Там, внутри, разбивалась в судорожном движении другая волна безумия, охватившая казалось бы здоровую нацию; это был танцевальный марафон, и вывеска у оркестра показывала, что танцоры приближались к двухтысячному часу танцев.

Сумасшествия подобные были и раньше, люди всегда были одержимы страстью к танцам, даже к массовым танцам, как тарантела или танец трясунов, когда шеренги мужчин и женщин восемнадцатого века раскачивались часами в идиотской одержимости религиозного радения.

Но в этом марафоне танцев была что то неизмеримо оскорбительное и растлевающее, что то, от чего зрители должны были бы отворачиваться с чувством глубочайшего стыда и отвращения. Но они сидели с ногами на барьере, двигая квадратными челюстями и поминутно сплевывая, чтобы не заснуть, уставившись ослепевшими глазами на идиотское шорканье нескольких пар подошв, на ватные ноги, которые с трудом поддерживали свинцово-усталые тела.

Танцующие с трудом передвигали отжелевшими, усталыми ногами в отвратительной пародии танца, только чтобы двигаться, и не упасть и не быть исключенным из числа конкурирующих ради выигрыша посеребряной чаши.

Они судорожно цеплялись друг за друга, ненавидя себя и своих партнеров той ненавистью, которая росла по минутам, от раздражения взаимных прикосновений вымотанных тел, от отвращения к запаху пота другого тела.

Но состязание шло минута за минутой, оно было так же романтично и увлекательно, как медленная кинематографическая картина, снятая в одном из загонов чикагской скотобойни...

Октябрь, 1942
Сан Франциско

Встреча с юностью

Разносчик почты, пациент из туберкулезного отделения, принес письма. Он шел от кровати к кровати, останавливаясь на минуту, чтобы перекинуться словом с тем, кого знал или там, где могли быть слушатели. Он был неофициальной газетой, радио-передачей, источником всевозможных новостей, важной особой, будучи связью между этим закрытым миром и тем, вне госпиталя; кроме того, он всегда был весел и полон новостей, даже если эти новости и касались сыра и картофеля к обеду, или того, что только что, полчаса тому назад, в палате двумя этажами ниже умер пациент.

Конечно, это было не то, что ожидали пациенты, но в их маленьком мире выбора не было. Смерть была смертью, все, что можно было сказать о ней, кроме того, что хорошо, что случилось это с кем то другим. Было бы интересней послушать о женщинах, которых привезли под утро после ночной облавы и поместили в изоляционной палате! Хотя те, кто поме-

щались у окон и наблюдали за всем, что делалось внизу, во дворе, могли сами порассказать, как придавленные несчастьем сутенеры неистово жестикулировали в сторону окон, заставленных головами проституток.

На этот раз он рассказал им, что только что привезли девушку с револьверной раной в голове; ее случайно нашли в парке Буена Виста игравшие там дети. Ничего общего это не имело с их миром, который подчас сам был полон интересных, даже и трагических новостей, но случай привлек их внимание, хотя в большом городе ничего особенного не было в обыкновенном самоубийстве.

Позже принесли вечернюю газету. Сперва ее прочли все вместе, затем каждый в отдельности, задерживая ее подольше, чтобы успеть заглянуть на страницу юмора и в отдел спорта.

Они все помнили парк, в котором нашли девушку; те же, кто не знали места, пригнули, чтобы не выделяться среди других. Каждый старался припомнить лучше это место, в согласии со своим собственным интересом.

— Там была пивная, не дальше чем в полквартале от парка, — заметил один, выразительно посмотрев при этом на других, словно сказав что то, что имело особое отношение к самоубийству.

— Вы хотите сказать, в полквартале по эту сторону? — Другой больной сделал движение рукой, по которому никак нельзя было бы понять, в каком именно направлении. — Насколько я помню, когда лет с восьми стал бегать за

отцовским пивом, там никогда не было пивного заведения. А ведь я еще лет с двадцать проторчал пожарным в команде как раз за парком, на горе. Не мне ли знать? Вы хотите сказать, по ту сторону, да, там, верно, есть пивная, но не в полквартале! Каксе, по крайней мере в двух кварталах!

— А, ведь, верно, как же я мог ошибиться, черт подери! Совершенно верно! Там была церковь на этой стороне, позвольте, как далеко...

— Вот теперь вы не ошибаетесь! Действительно, там церковь, почти на углу. — Человек зашолотил слабой высохшей рукой по одеялу.

— Совсем на углу, совсем на углу...

— Совершенно верно, на углу, — почти прокричал он, продолжая колотить по одеялу.

— Верно, — согласились другие, — только ее подобрали на другой стороне парка.

Каждый представлял этот парк по своему. Он бы расположен на высокой горе, высоко над другими горами Сан Франциско. С вершины его открывался замечательный вид на весь город, на океан, огромный залив Сан Франциско, на горы Тамалпайз к северу и Маунт Диабло на юго-восток. Он назывался Буена Виста, что означает прекрасный вид. Когда туман висит над Сан Франциско, вершина парка, хотя и влажная от сырости, залита солнцем и там свежо пахнет мокрой землей, листьями и корой эвкалиптов.

Они восстановили в памяти место в парке, где нашли де ушку; затем перешли к разбору раны и возможности ее исхода. Опять каждый вспомнил свой особый случай, а те, у кого их не

было, прилгнули опять. Другие знали, что это было не так, но никто не хотел уличить их. Они были чрезвычайно мягкосердечны, даже до великодушия, понимая, что здесь, в госпитальных палатах, ложь было нужней, чем где либо.

Они говорили о ней, о ее ране, и в тот день и вечер каждый хотел, чтобы она выжила. Они заговорили о книге, которая была зажата в ее руке. Эта деталь имела особое значение, словно книга имела тесную связь со случаем и даже являлась ключом к нему.

— Это же сразу видно, что она занималась. Училась, как сейчас учатся все школьники.

— Им и надо заниматься, — вставил поспешно другой. — При соревновании и тысяча и одной вещи...

— Не думаю, — возразил третий, — не могла она просто читать ее? Это, ведь, ясно! Просто читала, ее палец был зажат между страницами.

— Может быть вы и правы, — согласился другой задумчиво, — но все же я не понимаю! Не вижу никакой связи!

— Вы хотите сказать, с раной? — Он сделал движение словно нажимая указательным пальцем курок воображаемого револьвера.

— Да, с револьверной раной!

— Это все можно просто объяснить! Она читала о чем либо, например, о том, как кто то взял и застрелился, ну и тоже, того...

— Не знаю, — отозвался поспешно другой. — Не знаю, как это связать! — Он посмотрел испуганно на других, качая маленькой морщинистой головой. — Тогда не нужно писать об этом в

книгах, — добавил он свистящим от волнения шопотом.

Акимов не принимал никакого участия в разговоре. Он лежал в постели, держа перед невидящими глазами газету. Он не читал, думая об остром запахе земли, листьях и коре деревьев, когда туман стелется над перламутровыми красками Сан Франциско, когда как таинственные чудовища, высывающие свои головы над волнами, поднимаются над серыми клубами вершины небоскребов, в то время, когда далекие газовые танки на ричмондских горах сверкают как атласно-белые грибы розовым утром... Величественная масса кафедрального собора Милосердия выступает сквозь утренний туман, и улица внизу кажется темным ущельем... Ветер, свежий и соленый, весело играющий по улицам, хорошо набрать им полную грудь, он несет в себе мощь Тихого океана, живое дыхание китов и дельфинов, иодовый запах морских трав и устриц. Ветер волнует и слух, мелодично играя мокрыми листьями деревьев и телеграфными проводами с нанизанными на них бриллиантами водяных капель... Земля мокрая и терпкая, с теплым запахом животных... Она тоже поет шелестом травы, мягкой поступью зверей, поет свободно и страстно, как может петь только земля...

Внизу город, скрытый наполовину клубящимися облаками тумана, кажется странным и маняще-незнакомым. Высокие здания его прорезываются сквозь туман и тогда кажутся свежее вымытыми или только что родившимися, как миражи чего то живущего без основания, вися

легко и безтелесно над быстро несущимися волнами...

Книга в ее руке... Девушка держала книгу в своей сведенной руке, с пальцем зажатым между страницами. Газеты обрадовались и другой детали, сентиментально-трогательной — букетику фиалок в отвороте ее пальто... В утреннем тумане фиалки тоже пахнут нежным и долгим ароматом земли... Книга, зажата в ее руке, была драмы Ибсена, и газетный репортер, обрадовавшись, что попал на золотую жилу, остановился на этом длинно и утомительно. Ибсен, думал Акимов с нарастающим волнением, оторвавшись глазами от газеты. Для многих, если не для всех в этих серых госпитальных палатах, имя было чужим и незнакомым, и только он мог связать с ним свою юность крепко и любовно: молодую Хэдвиг из "Дикой утки"; Хальварта Сольнеса, великого зодчего; Освальда Альвина, сына вдовы из "Призраков" и, конечно, незадачливую Нору из "Кукольного дома".

Его поразила быстрота и легкость, с какой он вспомнил их имена и образы почти двадцать лет спустя, когда читал Ибсена в последний раз.

Он снова перешел мыслями к девушке, смутно стараясь найти связь между нею и маленьким томиком. Никакой определенной связи не было, но его все больше охватывало волнение, которое он не мог определить, но которое было связано с глубокой жалостью и еще с чем то, что он не мог назвать.

Все это поразило его; он отложил в сторону газету, поднялся выше на подушку, словно толь-

ко что подвинулся к девушке с букетиком фиалок и нарядным томиком, и стоял там, пораженный, вне себя от неотразимой тяжести предчувствуя, беспомощный, без слов, только показывавшей ей протянутой рукой на быстро несущиеся клубы, на светлую мозаику города, на леса далеких небоскребов, висящих в золотом воздухе над сиреневым ковром тумана и казавшиеся невесомыми и несвязанными ни с чем...

Он думал о многих других вещах, казавшихся такими важными и нужными в этот момент, но которые были очевидны и не нуждались в словах, здесь, на узкой тропинке, в нескольких шагах от девушки, голова которой еще не была помечена маленькой, но опасной пулевой раной. Но Ибсен, прокричало в нем, — Ибсен, молодость и надежда миллионов сердец, плакавших и радовавшихся над переживаниями его героев и героин! Ничего, что дрожат колени старика Сольнеса, когда он забирается на леса своей постройки, это только символ, другие, молодые и крепкие каким он был в свое время, последуют за ним! Это бесконечная цепь. Даже не символизм, а в тысячу раз благословенная реальность, прочная надежда для всех нас, т. е. для всех тех из нас, кто хочет жить!... Стойте там, подождите еще секунду, фиалки в букетике пахнут так сладко! Трудно сказать, что пахнет лучше, фиалки или влажные листья эвкалиптов с их терпким ароматом! Это то же самое, та же самая земля, посмотрите, как все на ней просто, благословенно и понятно, так что даже новорожденные дети легко схватывают это, звери и птицы... Это за-

кон жизни, порыв к жизни... Разве не так? Подождите еще одну секунду, не двигайтесь с места, я расскажу что-нибудь... Хотя бы о фиалках. Слушайте: зверь — не обязательно злой и хищный, он даже мог быть добрым по своему — пробирался осторожно через лес. На одном месте он задержался и его большая и мягкая лапа вдавила след в девственную почву, дав ей тепло. Зверь прошел дальше, но на том месте некоторое время спустя показался росток, вначале слабый и нерешительный, который в один прекрасный день распустился чудесным бархатным цветком лучше и богаче самой дорогой ткани, с таким нежным и сладким ароматом, что все в том лесу радовалось, что когда-то лапа зверя остановилась там несколько недель тому назад... Но еще о фиалках. Если вы когда-нибудь поймаете живую лису — если вы вообще вытяните! — и понюхаете конец ее хвоста, вы почувствуете запах фиалок. Тогда вы узнаете все тайны леса... Но вам никогда не поймать живой лисы, не из-за того, что вам не удастся вытянуть и выжить, а потому что вы и лиса живете в совершенно разных мирах... Один естественный, другой искусственный... Но это ничего не значит! Только не делайте шага, задержитесь еще на одну секунду, на малую ее дробь, может быть найдется время рассказать еще что-нибудь... Только бы выиграть время... Хотите послушать о тумане? Где он рождается, почему несет в своем дыхании крепкий запах иода и устриц? Это дыхание Тихого Океана, мощное дыхание всех океанов и морей, даже самых отдаленных!

Если бы мы могли посмотреть, где они берут начало, или заглянуть в огромную глубину океанов, где царит вечная темнота и живут странные чудовища, мы открыли бы новый мир! Мы знаем, что он огромный и захватывающий по его мощному дыханию... Не только наш собственный мир, зачастую ограниченный, а другие, вот что я хочу сказать! То, что захватывает наше воображение, где можно сбалансировать то, что мы теряем или то, что нам не дано... Но это не то, о чем я хочу рассказать вам! Еще одну секунду, раз я уже упомянул о далеких землях и морях! Хотите, я расскажу о синих и фиолетовых берегах Лабрадора? Я сам никогда не видел их в действительности, но вижу более просторным видением воображения. Представьте на секунду — это вас может удержать от рокового шага! — холодно-зеленое, темно-фиолетовое море и на нем белые гребни, которые еще больше подчеркивают невероятно сильные краски. Представьте изрезанные скалы лиловых берегов и снежные шапки на темных вершинах гор. Все там сильно и мощно, как создал это Бог и оно еще не успело поддаться времени. Так мощно и сурово, словно Он, в яростном моменте вдохновения, смял глину мгновенным рывком руки и бросил ее в сторону, чтобы вернуться после и дать ей законченную форму. Но так и не вернулся! Так и остались эти первоначальные формы и краски, эта зелень, синева и лиловый цвет, которые только можно представить себе. Это и есть то, к чему я веду вас, но это нужно схватить быстро, одним дыханием, одним глубоким,

захватывающим вздохом, так, словно он последний в жизни, — нет, нет, я не то хочу сказать, это только для сравнения! — море, отдаленные берега необычайно яркого цвета, и на холодной зелени и синеве волн, на всем этом величественном фоне, киты, самые могущественные существа в мире, устраивают свадьбы! А за тысячи миль, на берегах Исландии и Ньюфаундленда, рыбаки, слыша отдаленный грохот, не удивляются и не пугаются его, они близки к природе, к великому замыслу, сами часть его... Так как вам уже не остановить меня, о, если бы я только мог остановить вас, предостеречь от ненужного шага!, то я расскажу еще что либо, только чтобы вы не сделали никакого опрометчивого движения... Вот о чем! Огромная необъятная степь, насколько можно охватить глазом, ровная зеленая земля, колышущаяся травой. Это не ветер, а движение сотен тысяч лошадей. Не так давно еще степь сотрясалась от бся жеребцов, но теперь все спокойно, лошади двигаются мирно, только время от времени кобылица остановится и ляжет в траву, и ее глаза станут мгновенно испуганными и страдающими, но не печальными, а скорее робкими и поддающимися великому замыслу — вы знаете, что все подчинено ему! Кобылица приляжет, другие лошади пройдут дальше, но их так много в степи, что у ней нет чувства, что она одна или покинута. Вскороости ее глаза изменят выражение и станут влажными и прекрасными, это потому, что заключился круг! Теперь она начинает прилизывать теплую кожу родившегося жеребеночка со

всей той трогательной любовью, которую может дать только материнство. Ея сердце забьется от радости, когда она станет наблюдать, как он будет пытаться встать и опереться на свои тонкие, широко раставленные во все стороны ноги. Теперь уже все, что есть живого в степи, следит за этим никогда не забываемым явлением. Ушканчики перестают прыгать, они поднимаются на задние лапы, чтобы лучше видеть и потирают передние лапы с чувством завидного восхищения; кроты давятся от неудержимого смеха от вида маленького сосунка, еще не уверенного, но уже задорного на своих грациозных, тряских ногах. Птицы спешат к тому месту, тревожа воздух проворными крыльями, чтобы прилететь туда раньше стрекоз и кузнечиков, так как нет более прекрасного зрелища, чем шаловливая игра однодневного сосунка, козлика или овечки... На вашем лице может заиграть улыбка, если вы подвинетесь ближе, так как это всегда близко сердцу женщин. Однажды я сказал десятилетней девочке, что женщины обладают необыкновенным феноменом чувствовать, что у них будут дети, и она улыбнулась и ответила: "я знаю это!" Столетия опыта говорили ее устами, как столетия теснят мой мозг, когда к говорю вам о лошадях... Я вспоминаю своего отца, не того, который умер, когда мне было восемь лет, а того, который жил давным-давно тому назад! Но время ничего не значит, так как я помню его гораздо лучше, чем другого. Это было столетия назад, но, повсюду, настолько хорошо помню, словно это было только еще вчера: отец

сидел на коротконогой, длиношерстной лошади, вокруг была бесконечная степь. Я сидел позади отца, крепко держась за его одежду, видя его повернутое в сторону лицо, острый профиль, мех остроконечной шапки, колчан со стрелами и лук... Я помню это отлично, вижу еще лучше с закрытыми глазами, и каждый раз когда думаю об этом, прихожу в неудержимое волнение. Я помню запах пота отцовского халата, забрызганного кровью и пятнами бараньего сала... Вот почему я так хорошо запечатлел перемену в глазах кобылицы и знаю истории об ушканах и торбоганах... Время значит так мало, вернее столетия, но секунда, даже дробь ее может значить много. Вот почему я рад, что могу говорить с вами, рассказывать вам с надеждой оттянуть время и удержать вас от страшного шага... Еще один момент, я расскажу о воображении, безграничности, памяти, о том, как можно всем существом, всеми порами, впитывать в себя то, что нас может волновать и увлекать! На высоких горах, на Андах, Гималаях или Альпах, не важно где! на высоте многих тысяч футов, живут люди с исключительно крепкими легкими. Они или пастухи или монахи отшельники, что, конечно, не важно! Они поднимаются на горы по пробитой тропе и время от времени останавливаются. Куда бы они ни посмотрели, они видят поразительную по красоте панораму, с каждым поворотом все более захватывающую. Внизу глубокие долины, зеленые пятна вспаханных полей, клубы вьющегося дыма, маленькие точки того, в чем их острые глаза различают жилища. Над ними еще

горы, некоторые вершины покрыты снегом, другие в обнаженной красоте камня. Все в красках, прекрасных, ярких, сильных, почти невообразимых, пока не забраться на высоту между десятью и двенадцатью тысячами фут. Все в движении: парит орел в царственных кругах; горная серна только что совершила огромный прыжок с легкостью, поразившей воображение; сверкают водопады под яркими лучами солнца в нарастающем темпе захватывающей музыки... Тот, кто живет там, не перестает наслаждаться красотой красок, движения, музыки... Одну минуту еще, подождите. только еще одну минуту, не делайте никакого движения! Если вы вышли из одинокой меблированной комнаты, которую можно было населить ибсеновскими героями, с олько же нас других, которые тоже вышли из таких же нерадостных комнат? Разве это выход? Разве можно задать такой грустный вопрос и не отшатнуться самому! Не в вашем случае, не для вас такой выход, поэтому стойте, не двигайтесь, может быть чудодейственная перемена произойдет в вашем мозгу!... Я соглашаюсь, и я говорю об этом с грустью, которую не могу преодолеть, что было бы вероятно больше пользы, если я начал бы рассказывать в другом порядке! Надо было бы закончить самым сильным эффектом — лиловыми берегами, холодной зеленью моря, на котором киты играют свадьбы, может быть это отвело бы вашу руку... Заметьте, если еще не поздно, хотя и не так важно, что я хочу сказать! — что я ни разу не упомянул, что это грех против человеческой морали,

или церковного канона... Нет, я не сказал ничего об этом... Если это и грех, то тяжкий против того великого плана, о котором я говорил в середине своего путанного рассказа...

Акимов вытянулся выше на подушке и изумленно обвел глазами вокруг... Группа больных, еще недавно сидевших на соседней кровати, разошлась по своим местам. В конце палаты, над дверью вспыхнул неожиданно зеленый свет. Глупо улыбаясь, госпитальный служащий протолкнул маленькую каретку с клистирными трубками. Тень в ущелии между корпусами госпиталя углубилась и приняла лиловый оттенок.

Он снова закрыл глаза и погрузился в тяжелую вязкость сбивчивых мыслей. Через минуту яростно потряс головой и насилуя себя, стал соображать, о чем, в сущности, были его мысли. Прикрывая свои шаткие ноги полами халата, с лихорадочной поспешностью прошел в уборную старик больной.

— Да, да, шаткие ноги строителя Сольнеса... Вот откуда пришел он, с другой стороны света, почти четверть века спустя... Мог бы я думать, что он придет ко мне в такой форме? В таком месте? Вместе с девушкой, отважившейся на самоубийство?

Он думал напряженно и упорно, стараясь воспроизвести и снова освежить то, что он хорошо знал в прошлом. Странно, что за все эти годы он никогда не думал об этом. Как то однажды, после долгого раздумья перед афишей “Кукольного Дома”, он встал в очередь, но уже перед самой кассой, передумал и отошел. Не

потому, что это было во время депрессии и влекло с собой неотвязчивый след подавленности, а потому что у него зародились какие то сомнения, над которыми он не хотел задерживаться тогда. Теперь было иначе. Он чувствовал, что это имело связь с бедной девушкой.

Акимов опустилсЯ ниже, пристально вглядываясь в потолок, словно пытаясь всмотреться сквозь него. Его острые колени выступали под одеялом, стало внезапно холодно, словно ледяной ветер дул из коридора палаты, из глубокого ущелья наружу. Он почти совсем забыл о девушке, вернее она заняла второстепенное место в его возбужденном мозгу. Он все еще боролся с именем Ибсена.

Сначала ему показалось, что он нашел решение, естественное и правдивсе, ему даже показалось, что он дохнул дурманам болотного отравления "Дикой утки". Он задержался на этой мысли, раздумывая, была ли там связь, был ли правильный вывод. Вдруг все показалось ему простым и пснятным, он даже почувствовал внезапное облегчение, ему даже стало тепло, так как это ответило его раннему энтузиазму и любви к Ибсену.

Но как только он подумал об этом и о днях своей юности, он сразу же почувствовал, что ошибся, что он пытался только обмануть себя в бессвязных мыслях, и вновь, с нарастающей физической болью, он вернулся мыслями к раненой девушке, лежавшей без сознания в палате соседнего корпуса, или спавшей в наркотическом сне операции.

— Но Ибсен, — прокричал громкий и горький голос, отдаваясь в его ушах настойчивым звоном. В волнении он пытался подняться, приготовливаясь к тупой боли. Осторожно выправил корпус, выпутал свои ноги, опустил их на пол, не зная, как еще справиться со всем движением, осторожно нащупал под кроватью туфли. Снова остановился, борясь с сильным желанием проверить еще раз, убедиться, что дело не в Ибсене, что он ничего не имел общего с этим случаем, ни сам, никто из его героев.

В палате было тихо, больные спали или лежали в кроватях, устремясь глазами неподвижно в потолок. За столом в коридоре сидела сестра милосердия, подперев голову вытянутой ладонью, с накинутым светом на плечах, с книгой, укрепленной под углом на столе.

Он остановился на минуту у окна, вглядываясь пытливо через узкий проход в противоположное крыло, где время от времени загорался голубой огонь, чтобы разгонять сон тем, кому не спалось, заставляя их думать об операциях.

Сестра милосердия продолжала сидеть в той же позе, когда в конце коридора он повернул к лифту. Он нажал кнопку, но решил не ждать лифта и повернул в сторону лестницы, стараясь идти как можно быстрее, останавливаясь на платформах, чтобы перевести дыхание.

Внезапно во всех палатах погасли огни. — Значить, девять часов, — подумал он, вспомнив, что когда они начали читать газету, было только около пяти.

В коридоре было темно, только на лестнице,

ведущей в подвал, внизу слабо мерцала тусклая лампочка. Внизу хлопнула дверь и ворвался порыв холодного ветра. Он знал дорогу к двери, похожей на гаражную дверь, которая от легкого напора освобождалась от замка.

— Все выйдет благополучно, если я только найду ее, — загадал он, сознавая, что в этом был рискованный шанс. — Нет, нет, — заторопился он поправить себя, — слишком много условного в самом слове “все”. Пусть будет так, как задумал в начале.

Почувствовав сразу успокоение и уверенность, он открыл дверь и нащупывая стену у двери, повернул выключатель и прошел через всю большую комнату к книжным полкам. Три, четыре буквы вправо и ниже. Его рука нащупывала корешки книг, пока не вытянула одну из них. — Как хорошо, что не переменял задуманное — подумал он, быстро взглянув на заглавие.

Ветер опять обледенел его на повороте подвального коридора, но сейчас показался ему успокаивающим и даже приятным. Он поднялся по лестнице, останавливаясь время от времени, чтобы перевести дыхание и перелистать книгу в поисках того, что искал.

Сиделка перевела плечами, словно холодный ветер пробежал и по ним, и мельком взглянула на него.

Он сел на постель, взволнованный так, как не был долгое время; ему хотелось лечь и согреться, но в спящей палате было темно и нельзя было читать. Ждать ли утра, подумал он, как годы и годы назад, когда утреннее солнце пропускало

косые лучи сквозь замороженные окна и все казалось сверкающим от солнца и снега за окнами — белые гардины, самый воздух казался белым и чистым... и такой же белый и радостный свет излучался от страниц Ибсена.

От волнения частой дрожью стучали зубы. Он чувствовал холод и усталость. — Завтра, завтра, — простонало в нем, в его теле и мозгу, и ему стало приятно, что он пожалел самого себя в этот час в холодной и казалось покинутой палате.

— Но она попалась сразу под руку, словно ждала меня... Я и загадал, что все будет благополучно, если...

Он сделал усилие подняться и вышел из палаты. В уборной горел свет, было покойно и безопасно, он сел на кожаную скамью и поспешно раскрыл книгу.

Быстро пробежал по оглавлению, затем по перечню действующих лиц. Освальд, художник из "Призраков", Регина Энгстранд, дочь плотника, как хорошо запомнились их имена, хотя они сами были в тумане. Дальше, дальше... Нора из "Кукольного Дома", но это позже! Вот Эдвиг, четырнадцатилетняя девочка с добрыми мигающими глазами, дикая утка, у ней плохо с глазами и ей суждено потерять зрение, хотя это только нужно для того, чтобы выявить скрытую параллель между богатым человеком и ею, поэтому это неважно! Вот персонажи из "Строителя Сольнеса", Хильда Вангель и сам старик зодчий. Не здесь ли ее пальцы заложили страницу?

Он перелистывал страницы, возбужденной памятью схватывая развитие пьес и их характеров. Наверху, в открытое окно, дул холодный ветер. Старик, страдавший несварением желудка, стонал и мучительно кряхтел за створчатой дверью. Незавернутый кран шипел лившейся водой.

Акимов не замечал ничего, даже то, что его руки и ноги были холодны, а голова горяча и казалось была готова разорваться под давлением воспаленного мозга. Он чувствовал холодный воздух, но как внизу, в подвале, он казался ему приятным и успокаивающим. Он знал, что был очень болен, но он знал это таким образом, что это даже не трогало его, словно кто то другой сидел там больной и продрогший, лихорадочно пробегая по страницам горящими глазами.

Позже, много времени спустя, когда почти все следы его операции исчезли, он вспоминал об этом странном дне и ночи как о чем то, что касалось кого то совершенно другого. Это был он, и все же тот, кто глотал судорожно страницы в госпитальной уборной, продрогший и в то же время в лихорадочном жару, с маниакальной настойчивостью искавший какого то ответа, был кто то совершенно другой. Он совсем забыл о раненой девушке, потерял интерес к ней, как к первоначальной причине своего возбуждения, и теперь она стала незначительным и случайным прибавлением к Ибсену и его героям. Вся суть теперь была в пьесах, и к этой мысли его возбужденный мозг возвращался все более и более с манией одержимого найти во что бы то ни стало ключ.

Расстроенный старик хлопнул сердито створчатой дверью и раздраженно взглянул на Акимова: хорошо одному читать, когда другие страдают! Входили другие больные, кое кто еще в полусне, другие с широко раскрытыми глазами, говорящими о бессоннице и боли, но он даже не поднимал головы, глотая страницу за страницей быстро и легко, как человек, который пробегал глазами по чему то отлично знакомому, хотя все, что он читал теперь, принимало совершенно другой оттенок.

Мать Эдвиги спрашивала, сколько они тратили на хлеб и масло в день, записывая каждый грош в книгу. Нора и ее муж постоянно говорили о деньгах, он полу-шутя, полу-укоризненно; она с испугом, как мышь, попавшая в ловушку, запутавшись в деньгах, которые мальчики, разносчики газет зарабатывают теперь шутя в два месяца. Бывший лейтенант разводил птиц и кроликов на чердаке, рядом со своей комнатой, убивая их время от времени из ружья, так как был "большим любителем природы"...

Окончив читать, он сразу почувствовал смертельную усталость и боль во всем теле. Ветер, свистевший в верхнем окне, стал еще холоднее. Придя в себя, он поразился, как неистово тряслось его тело, дрожали ноги и стучали зубы, но это не от холода, подумал он, а от внезапной реакции после лихорадочного возбуждения. Он долго не решался подняться, но когда встал, то безразлично подумал, что, вероятно, был на

половину согнут.

В кровати, все еще дрожа неистово, он поднял колени к подбородку; слезы нахлынули к его глазам. Он повернул голову, щекой к холодной подушке, закрыл глаза с такой тяжестью, словно это взяло последнюю каплю его сил.

Он не знал, сколько времени лежал в согнутом положении, не думая ни о чем, не ощущая, что тепло постепенно возвращалось к его телу. Когда он пришел в себя, он почувствовал покой, открыл глаза, и внезапно все стало ясно и свя-зано.

Позже, месяца и даже годы позже, вспоминая этот странный день и ночь, он думал о них с неизменным ощущением удивления и недоумения. В его мозгу были неожиданные прояснения, чередовавшиеся с такими же неожиданными периодами какой то пустой темноты, словно что то вроде затвора работало там вне зависимости от его воли. И в то же время, ничего не казалось ему странным и неожиданным, наоборот, казалось, что иначе и не могло бы быть.

— Я хотел только проверить себя, было ли это стоящим и нужным, чем то объяснимым, и приемлемым? Но было ли это так? Стоит ли умирать из за серых, незначительных героев, хотя Ибсен сам и не знал об этом, любя их, как своих собственных детей, даже если кое кто из них и был порочным! Они, действительно, были близки его любящему сердцу! Но Боже, как банальны были их жизни, как ничтожны их идеалы и как пусты, лишенные даже малейшего вдохновения были их трагедии! Трагедия Норы

заклучалась в том, что она заняла деньги для поправления здоровья ее мужа и боялась сказать об этом скучному, серому человеку, переполненному моралью скандинавского пастора, который хочет развить ее в своей жене, детях, в членах своего прихода! А какой жалкий до стыда был след шантажа! Особенно теперь, в наши дни, на том сочном фоне шантажных случаев, которым полны страницы газет! Раненая утка, ныряющая на дно, чтобы зарыться в илу и не выплыть на поверхность, о, если бы только появился новый грозный и яростный пророк, чтобы устроить и предать проклятью тех, кто живет инстинктом дикой утки! Если бы я был только не прав, но это горечь, непоправимая безнадежность, что бьется во мне — нельзя умирать ради Норы, ради Хиалмара, ради любого из них!

Акимов заставил себя лежать, не двигаясь, хотя ему хотелось опять выйти под успокаивающие дыхание холодного ветра.

— Надо разобраться, стать покойным и бесстрастным и признать, что никто не пойдет в парк в туманный день, чтобы застрелиться из за них или ради них, если он сам уже не заражен испарением болотного яда! Два поколения были обмануты ими, и нужно ли продолжать обман среди других, незащищенных и беспомощных — хотя вы и дитя других времен, более страшных, но не пустых и мелких, как было время наших отцов! Мы должны признать, что настоящее время жестокое, несправедливое, даже нечеловеческое или что оно благородное и обещающее, как новый рассвет, все зависит от того, где кто стоит,

но оно не ничтожно и не устотело... Вот почему жаль, что вы проглядели это, или не подумали об этом, и никого не было возле вас, чтобы остановить вас во время... Но вернемся к пьесам и разберем их планомерно и бесстрастно. Начнем с великого строителя Сольнеса, готового раздавить любого, кто отважится строить дома в Христиании, но который дает намек о страхах и следах возможного помешательства. Когда он уже значительно подогрел себя этим, открывается дверь и входит незнакомая девушка в странном платье и матросской шапочке. Она заявляет, что десять лет прошло и вот она пришла за своим королевством. Какие десять лет, какое королевство? Разве великий строитель не воздвиг церковную башню в их селе десять лет тому назад и не встретил двенадцатилетнего подростка, которого шутливо поцеловал? Это случилось после того, как строитель по обычаю того времени забрался по лесам и возложил венок на верхушку башни под всеобщее ликование школьников и сельчан. Затем он поцеловал ее. И так прошло десять лет, день в день, поэтому она и пришла за получением обещанного царства, мило оповестив при этом, что у нее нет никаких вещей, кроме маленького мешка со сменой белья, так как то, что на ней, уже грязно... До этого старый архитектор (строитель раздавил его в прошлом) просил за сына чертежника, чтобы строитель позволил ему начать работать для себя. Нет, — отверг решительно Сольнес, — нет! Он будет продолжать работать для меня. — Но я умру, если вы не поможете моему сыну!

— Умирайте! — Уничтоженных человек отправился умирать, представив Сольнеса своим мучениям, что новое поколение стучится в дверь...

Но верхнем этаже соседнего корпуса вспыхнул голубой огонь и позади белых занавесей показались силуэты нескольких фигур. Акимов приподнялся, но мысли так теснили его, что он опять лег и уставился в потолок.

— Почему, спрашивается тогда, эта рабская зависимость от чьего либо решения! Разве в дни Ибсена никто не мог поступить так, как хотел и заниматься тем, к чему способен? Очевидно, нет. Во первых, тогда не было бы шедевра, при помощи которого умы наших отцов отравлялись мелочами, мелкими деньгами, мелкими страстями, грешками, и преступлениями. Но Ибсен, принадлежа к ним, сам не думал о них иначе, они были для него отличными людьми. Некоторые из них, как например, Грегерса, он снабдил даже порывами к идеалу, хотя в том же самом мелочном порядке узко-пасторской морали... Главный мотив был страх Сольнеса, что молодое поколение рано или поздно возьмет его место. Из за этого он держал молодую девушку в качестве бухгалтера, хотя она и любила строителя, но больше хотела выйти замуж за молодого чертежника. Путанное положение требовало объяснения. Сольнес заставил ее полюбить себе, чтобы она не повенчалась с Рагнарсом и таким образом удержать его у себя на службе и устранить опасность соревнования со стороны молодости. Не странный ли это способ связывать то, что не связывается? Закрывать ли свои глаза на

явную абсурдность, только чтобы не разрушить бумажные домики, которые Ибсен построил для своих героев? Жена Сольнеса, трагическая фигура, не любит своего мужа (как только появляется он, она исчезает); есть туманная связь между задуманными планами строителя и смертью его маленьких детей. В минуты угрызения совести он готов обвинить себя в трагедии в намеке, что сам поджег старый дом, чтобы построить новый. Жена Сольнеса мирится с потерей и повторяет, что "два маленьких мальчика счастливы", но она никак не может забыть, что пожар уничтожил портреты ее дедов, кружева, драгоценности, а, главное, куклы, с которыми она все еще играла... У Хильды, которая ждала десять лет, чтобы потребовать у большого человека обещанного царства, была счастливая манера завершать дела, приводя все к счастливому концу. Она даже воодушевила старого строителя на то, что он решил взобраться на леса своей постройки. Он сделал это по двум причинам и только ради Хильды: он не сдастся и не отступит перед новым поколением и заберетря на леса, даже если и дрожат старые колени: во вторых, он все таки добудет ей царство, которое помещалось где то там, на той высоте, до которой он хотел добраться!... Если страх расплаты был главной мыслью "Строителя Сольнеса", то страх о деньгах был в "Кукольном Доме". В первом акте разговор был только о деньгах. Во втором выясняется, что Нора запуталась в деньгах: она увезла больного мужа на юг для поправления здоровья, заняв на это деньги у одного

не совсем чистоплотного человека. Чтобы выплатить долг, она отказывает себе во всем. В это время ее муж получает назначение на место директора банка. Вводится еще одно лицо — подруга Норы, вдова, которая ищет место. Человек, который одолжил Норе деньги, занимает скромное место в банке. Для него оно чрезвычайно важно и ради детей, и как средство загладить какие то прошлые грешки. “Я буду биться за свое маленькое место в банке, как за свою собственную жизнь”, говорит он, получив известие о расчете, так как его место предназначается для вдовы. Затем следует скромный акт шантажа, терзания Норы и горькое обвинение ее мужа, что она не достойна быть матерью его детей, не говоря уже о том, чтобы быть его женой, особенно теперь, когда он получил такое большое место. В это время пришло письмо от шантажиста, сознание которого проснулось; кроме того, он увлекся вдовой, на которой женится, так что ему уже не нужна расписка Норы с поддельной подписью. Здесь муж Норы вне себя от радости, он не потеряет своей новой службы, и Нора, если никто не знает об этом, не преступница, каковой она была в его глазах еще только минуту назад... Действительно, не высокая жертва, не фунт живого мяса, нет, ничего подобного! Просто маленькая заячья трусливость, тина, в которую погружается утка, чтобы уже больше не подняться на поверхности...

Акимов лежал тихо, как во сне, только время от времени переводя глаза на полыхание голубого света верхнего этажа противоположного

корпуса, темного во всех других этажах и тогда казавшегося массивным в ночном воздухе. Он лежал, стараясь не двигаться, не ощущая ни боли, ни усталости.

По палате с тихим шопотом, за белым кружком электрического фонаря прошло две фигуры прислужника и священника, делавших обход пациентов католиков.

Они приблизились к его кровати; он закрыл глаза, притворяясь спящим, и они прошли мимо. Внезапно, от присутствия других людей в этой тихой и казавшейся опустошенной палате, он почувствовал облегчение и вместо раздражения и ощущения тяжести непоправимости пришло умиротворяющее ощущения покоя. Он притронулся к своим коленям, чувствуя их остроту, и опять с жалостью к себе подумал, как был болен и обессилен.

— Все это, конечно, глупо! — сказал он тихо вслух, и его уши насторожились, не слышал ли ктонибудь еще его голос. — Что в том, что я напал на старого Ибсена, который был радостью моей юности! Я сделал это не на личной почве. Даже не думал о нем или о своей юности... Но дело в ней, в девушке, решившейся на самоубийство, и взявшей в свидетели своего страшного дела ибсеновских героев — в свидетели или для поддержки в тот момент, когда рука может не осилить решимости — вот, где все мое существо затрепетало от ужаса, от священного ужаса страшной неправоты, даже кощунства! Бог милосердный, почему же это тревожит меня, когда я сам так болен?

Больной, проходивший спешно палату на трясущихся ногах, повернул лицо в его сторону, и Акимов дал ему пройти, опять притворившись спящим.

— Но почему же тогда все казалось в другом свете? Почему? Это была моя юность!

Он улыбнулся слабо и з. вороженно. Это было во время рождественских каникул, когда сн был дома две недели в счастливый, если не счастливейший период его жизни. Утра были белы от глубокого снега за окнами и белых гардин. Казалось, что необкновенно белый свет исходил со страниц Ибсена. Светло и радостно было в старом доме, с лица матери и сестры не сходило сияние. За окнами был свежий холодный день и для того, чтобы размять ноги, он открывал дверь на занесенную снегом веранду и пробегал всю длину сада. Деревья отряхали искристый снег с ветвей, легкий ветерок порошил снежной пылью с сугробов. Он возвращался в свою комнату и смотрел на атлас, чтобы найти Христианию, где жил Ибсен и умер за десять лет до этого...

Когда Тевяшевы навестили его вечерам, то нашли, что он был гораздо хуже, чем в последний визит. Андрей промолчал, но Маша спросила е:о в чем дело, Акимов только ухмыльнулся и покачал головой; он ничего не сказал им о прошлой ночи, но рассказал со слабой и виноватой улыбкой Маше о четырех-пяти ярких зимних днях, о сугробах у веранды и за снеженными деревьях в белом саду.

Маша слушала молча, улыбалась и кивала головой, но ее глаза глядели озабоченно. — Похоже на бред, — думала она.

Он был счастлив, что они пришли, его близкие, дорогие друзья. С ними опять у него появилось чувство уверенности. Он вспомнил о двух молчаливых фигурах на рассвете и как он обрадовался им. Но сейчас, конечно, было еще лучше! Зачем он мучил себя ради других, ради тех, кого он даже не знал и не видел никогда в жизни? Как хорошо, что они были с ним! Даже хорошо, что Андрей не слушал его, разглядывая по своей привычке все вокруг и сейчас следил, как один из больных, завернув штанину на ногу, рассматривал болячки на коже. Одна Маша слушала его бессвязную речь, в которой он хотел связать что то, что никак не связывалось, и в которой возвращался опять и опять к дням зимы.

Когда они уже собирались уйти, Акимов, с внезапно нахлынувшим волнением, сказал:

— Для меня все стало особенно ясно... Какое то прозрение... Я никогда не забуду этой неожиданной перемены...

Маша остановилась, ожидая, что он скажет дальше, но казалось, что он забыл обо всем, даже о себе.

— Действительно, бред, — решила она.

Ноябрь, 1940
Сан Франциско

Ария доктора Фауста

— Кто это поет так пламенно и прескрасно сквозь пыльный экран радио, и песня его бьется безнадежно о стены и потолок комнаты, как птица об оконную раму зимним днем?

— О, это только доктор Фауст в своем одержимом желании юности и вечной жизни!

— Не звучит ли это типичной фразой из английского учебника: “Что за шум в соседней комнате! О, это мой дядя ест сыр”.

— Откуда это?

— Откуда что?

— Эта фраза. Когда ты слышал ее в последний раз, кроме школьных дней? Конечно, ты помнишь армейские казармы в Иркутске? Вероятно даже очень хорошо помнишь, как ты вошел туда, и там был Михаил. Тогда он еще не был мужем Маши, даже и не знал ее, хотя ты уже был знаком с ней... Ты вошел, а Михаил занимался усердно английским языком. Мир тогда казался маленьким и сосредоточенным, как сосредоточенным был пулеметный огонь на другой стороне Ангары. Тебе показалось странным, что

человек в форме артиллерийского капитана с малиновыми выпушками, что означало службу в сибирских корпусах, в тот тревожный час, в темные дни гражданской войны зимой 1919, когда армия отступала длинным маршем вокруг Байкала, через тайгу, где всюду был только дремучий лес и снег...

— Можно без леса и снега!

— ...кто то сидел в той комнате которая завтра же будет занята другими, и прилежно штудировал Нурока. Вы оба тогда шутили и смеялись: “Молодые поэты заснули руки в карманы, но денег не нашли в них”. Ты смеялся, но что то угнетало тебя, давило, хотя музыка, чуть ли не в первый раз в жизни, уносила тебя свободно и замороженно! Ты чувствовал отвращение к тем дням и к необходимости войны, особенно прогрываемой, теряя шаг за шагом, когда мир-вокруг был таким чистым и безпорочным. Ты восставал нехотя и почти бессловесно, даже вполне прилично, оставаясь в рамках суровой дисциплины. Восставал не умом, а сердцем, что, конечно, помогало объяснить, почему в твоих ушах неудержимым потоком лилась музыка... Помнишь то неясное чувство пространства и пустоты, особенно, когда белый лес был напряженно тих в морозный день, той пустоты, которая должна была бы чем то заполнена. Чувство было неясное, и только с помощью и при поддержке наследственности — об этом даже не может быть у нас спора! — ты знал, что оно могло быть заполнено верой и любовью. Веры у тебя не было, вернее, было недостаточно, чтобы запол-

нить даже часть пустоты, так поразившей тебя своей безграничностью, поэтому ты пытался перелить ее любовью — здесь мы опять подходим к тому неожиданному потоку музыки в ушах... Но к этому мы еще вернемся позже...

Слов о читая твои мысли, Михаил сказал своим обычным тоном, в котором всегда было так много уверенности и успокоения: “мы будем продолжать, даже если и теряем. Нельзя бросить, следовательно нужно...” Не почувствовал ли ты себя подкрепленным его словами и не стало ли тебе стыдно за слабость, которую ты почти проявил? Хорошо! Оставим это тоже в стороне. Оставим Ангару и Байкал, но задержимся на причине того внезапного потока музыки, которая звучала сама по себе. Не была ли причиной ее стройная молодая девушка лет семнадцати, восемнадцати, в последнем классе гимназии, которая двигалась в том же состоянии неразберихи, где нельзя было понять — ехала ли она со своими родителями или друзьями? Через два с половиной года тебе было не по себе и ты загрустил, когда она вышла замуж за Михаила, но ты был опять счастлив, когда он уехал в Америку, а она осталась...

— Нет... Я совсем не был расстроен в первом случае, может быть мне было грустно и радостно в одно и то же время, что случается со мной в редкие минуты внутренней размягченности... Но мне было на самом деле грустно, когда я привез ее обратно домой после того, как уехал Михаил. Нет слов, все походило тогда на то, что она осталось сиротой... Впрочем — как

думалось тогда — это было только кратковременное расставание, всего на несколько месяцев, но почему то на самом деле казалось, что она и ее маленькая девочка...

— Да, да, все это, как я говорю, было только фоном, Ангара и Байкал... Только фон... В последний раз ты вспомнил об этом, когда Маша сидела в той неряшливой меблированной квартире, которую ты спешно нашел в то утро, когда ее освободили из Иммиграционного Дома. Ты наблюдал за ее лицом, смотрел на ее брови и нос, где в самом высоком месте его горбинки слегка раздавалась кость и кожица на ней казалась белой, даже походила на шрам, а ниже ее была легкая расщепленная впадина... Ей было особенно приятно, что ты упомянул об английском учебнике, словно это значило что то теперь, восемь дней после того, как вытащили тело Михаила, засыпанного в обвале шахты в Джек-соне... Да, это было далеко от Иркутска... Но приятно порадовало ее. У ней почти ничего, кроме обрывков воспоминаний, не осталось, счастливых и трудных в одно и то же время, но ей хотелось собрать их снова, сложить их вместе, словно они на самом деле значили что то. А ты наблюдал молча и думал о ней и о многих странных и поразительных вещах! Вот когда впервые, еще только отдаленным видением, подошла к тебе теория непоследовательности — или неувязки, которую ты теперь пытаешься принять в безответственном свете легкой шутки, несмотря на ее реальность, непогрешимость и даже постоянные доказательства... Ты заглядывал в ее

лицо, в ее глаза, отмечая про себя, что когда свет попадал в них, то глубоко загорались в зрачках ярко золотистые точки... Когда она через несколько дней уехала, ты еще видел всюду ее лицо, в каждом свете, в каждой тени, в каждом лице, всюду тебе мерещился ее образ... Теперь ты понимаешь, какая страшная и приманчивая сила одиночества! Ты думал о Маше и ее первом дне в Иммиграционном Доме в новой стране, одной с ее горем, не зная, что ее ждет завтра; об ее первой ночи в общей палате, в которой проститутки устроили протест против депортации, крича и танцуя нагишем на подоконниках. Но даже и это не облегчило твоего одиночества! Хорошо, оставим и это... Да, между прочим, когда это началось? Не было ли тебе страшно, что все это начнется снова? Есть вещи, о которых ты хотел бы забыть совершенно... А можешь? Между прочим, так, к слову — помнишь Портланд? Тебе, вероятно, никогда не забыть маленькой комнаты в дешевом отеле, где ты опустился на колени с неизвестным человеком, уличным проповедником, если не сказать шарлатаном! Действительно, ведь он подцепил тебя в самый слабый момент, не так ли? Он и его жеванная зубочистка, пока терпеливо и в то же время механически-бездушно, с оскорбительной пустотой, он говорил: “значить, признаете, что Иисус отдал за нас жизнь, да? Ну, тогда и вы спасены!” Да, да, только не крутись от боли и стыда, больше от стыда! Конечно, такую гнусенькую сценку не стереть так легко с памяти... Все еще помнишь подробности

так же ясно, как тогда... Сломанную зубочистку, которую он в конце концов выплюнул, край неряшливой постели, о которую ты оперся локтями и даже положил на него голову. За полчаса до этого проповедник ел котлету с луком. Когда он положил свою волосатую тяжелую руку на твои плечи и склонил молитвенно голову, запах сырого мяса и лука стал невыносим своей отвратительностью... Относительно последнего штриха ты даже жаловался самому себе, что это была последняя соломинка, которая сломала хребет верблюда. Ты даже вспомнил — это только чтобы укрепить себе же в этом штрихе! — жалобы Ивана Карамазова (верно ли, что он вообще жаловался об этом?), что его необыкновенный и неожиданный визитер в ту замечательную ночь был никто иной как простой русский черт, почти как приживальщик... не высокого ранга, не сатана с опаленными крыльями, а просто, потрепанный черт! А легкость, с какой проповедник перескакивал с изречений из Библии к простой болтовне! А как тыкал обломком изгрызанной зубочистки, словно подсчитывая множество грешников в той отвратительной комнате! В конце концов все это было гнусным балаганом, в котором ты принял такое участие... Хорошо, хорошо, мы это тоже оставим! Какая разница, все равно же это останется с тобой и не сотрется как бы ты этого ни хотел! Ну, а скажи, как это началось! Когда доктор Фауст начал петь свою арию и ты насторожил уши с такой готовностью и настроенностью!

— Хорошо, я скажу... Я уже начинаю расска-

зывать... Я ехал из Берклея. Когда поезд стал взбираться на Сан-Франциско-Оклендский мост, я выглянул из окна. Были сумерки, залив был серый и какой то торжественный, и я с внезапной физической болью вдруг почувствовал, что все вокруг меня стало невыразимо грустно и как то особенно опустошенно! Я посмотрел на лица пассажиров. Казалось, что и у них было такое же ощущение, казалось, что и их захватила эта же самая сила и они стали необыкновенно грустными и задумчивыми... Далеко влево и позади, на половину застланные туманом, были огни Берклея и Окленда; Сан Франциско был скрыт за островом Верба Буена... В огромной и опустошенной бухте стояло несколько пароходов и редкие стни на них говорили об одиночестве тех людей, которые в своих маленьких каютах убивали время треньканьем на мандолинах и банжо или глазели впустую на приколотые к стенам фотографии голых женщин... Когда я увидел их, вернее когда я представил их, лежащих там в почти черных водах залива, когда я увидел их сквозь железные плиты и стены каюты, я крепко понял ощущение чужого одиночества. Даже острая физическая боль пронзила меня, как удар молнии... Не потому, конечно, что они не могли пойти на берег, где все равно бы шатались бесцельно, плотоядно заглядывая на женщин и заходя из ресторана в ресторан, как делают все матросы на берегу, где их снимали бы уличные фотографы, заставляли подписываться на ненужные им журналы, а в барах, между стаканами виски, женщины брали бы их на короткие визи-

ты наверх; и матросы, счастливы, что могли бы быть с женщинами, даже если эти женщины и были хищны, искусственны крашенными перекисью водорода волосами и фальшивы, поспешно открывали бы свои бумажники и платили... Но дело не в этом, конечно! Не в том, что им нельзя было уйти на берег и приходилось убивать время в своих каютках. И не в тех, кто вернулся с берега с признанием, как они были обмануты, обобранны и обворованы всевозможными артистами на берегу... Нет, не, в этом дело... Не в сочувствии в физическом смысле, не в той разновидности немецкой мировой скорби ко всем потерянным и неприспособленным! Нет, это была моя способность узреть с такой готовностью страшную силу одиночества и даже взять часть ее — несоразмерную — на себя!

— Пространно, но все же...

— Я думал только об одном, пока поезд проносился над водой, что безграничное пространство висело над темной, пустынной, бухтой, и казалось, что огромным столбом оно поднималось на невероятную высоту... и оно было пустым и единственно чем можно было заполнить его была вера, огромная, отважная, неиссякаемая... какой у меня не было. Бог знал, что все во мне рвалось к ней, но самой веры было не больше чем огней на редких пароходах над черной бухтой... Вот почему...

— Да, да, дальше!

— ... я нашел себя в той, действительно, омерзительной комнате. Там было такое же пустое пространство, и в напрасном — и слабом — дви-

жении я пытался заполнить его, если не через себя, то через случайную встречу с уличным проповедником. Но он оказался отвратительной фальшью. У него не было даже того малого зерна веры, которое можно найти почти у всякого. Вместо того, чтобы работать в цирке или на пристанях, он нашел более прибыльным занятие проповедника. Первые же его слова выдавали его, у него даже не было ни малейшего представления о том, куда мысль, воображение и вдохновение могут завести человека в неопишимо прекрасные моменты экзальтации. Он мямлил, жестикулируя сломанной зубочисткой. “Значить, допускаете, а? Тогда, значить, вы спасены!”... А, затем, запах сырого мяса и лука...

— Ха-ха-ха! В конце концов ты снова вернулся к этому! Это, действительно, замечательно, черт подери! Типично по русски! То жаловался, что черт был слишком простым и даже потрепанным, словно тебе было за это жалко Ивана Карамзова, и вы оба предпочли бы опереточного демона с театральными крыльями! Здесь же, в отдельной комнате, был запах и огрызок зубочистки. Не хотелось ли тебе в отеле на Майн Стрит встретиться с ком либо вроде Эразмуса Роттердамского?

— Нет, конечно, нет! Но я повторял в голове слова, которые знал наизусть.

— Какие слова?

— Одни из Окровения: “... свидетель верный и истинный, начало создания Божия: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не

горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих!”

— Допустим, что они имеют какое то отношение к твоему — сказать ли? — путанному случаю. Хорошо, допустим, А что еще?

— Ты привел сюда Ивана Карамазова, а я приведу старца Зосему, может быть не совсем точно, но смысл верен: “Бог взял семена с различных миров и посадил их на земле. Его сад вырос, и все, что взошло в нем, выросло и все, что возросло, жило только через ощущение связи с другими таинственными мирами”.

— А, вот, где ключ ко всему! Теперь все понятно! Бедная старая земля слишком мала для тебя, слишком пропахла сырым мясом и луком! Но не говори мне, что лук не растет из посаженных семян в Божьем саду! Так твоя душа, или что там есть, рвется к другим таинственным мирам?

— О, если бы только дорвалась!

— Страстно сказано, почти даже с нотками вопля! В конце концов, это все естественно, типично по русски, со всеми присущими изворотами и изломами! Было бы странно, если бы ты не ходил по проторенной дороге!

— О, черт! Все русские подходят под три категории: дикари, сумасшедшие или шуты.

— Поэтому ему и сходит все с рук, даже убийство — только потому что он русский? Любопытно!

— Но они платят за это страшную цену! Но, дело, конечно, не в цене...

— Меняется в зависимости от взгляда?

—... главное, что если ты русский, то ты или дикарь, сумасшедший, или шут! Даже есть выбор, пожалуйста, берите по вкусу, кому что к лицу! Ведь это уже само по себе редкая привилегия. Но к черту шутки!... Слушай, ты, что пристал ко мне так неотвязчиво! Слушай, пока поет доктор Фауст, и комната, ширясь, совсем теряет свои пределы! Нужно было много времени и всяких препятствий, чтобы...

— Одержимому русскому...

—... осесть в этом городе одиноких! Боже милостивый! Даже не найти успокоения в том, что одиноки и другие! Смиренно и горячс — даже без всякого стыда — я прошу: освободи меня от одиночества! Днями и ночами я пою с горькой страстностью единственную песнь, которую знаю, печальную песнь одиночества! Это не молитва одинокого русского, это молитва одинокой души в большем, шумном, тесном городе! Кроме того, это не то, о чем поет доктор Фауст, я не прошу ни своей юности, ни того, чтобы смерть не двигалась ко мне! Нет совершенно нет! Я знаю, что это невозможно... Много общего в их отдаленности, и я уже знаю, что такое смерть...

— Хорошо, это можно пропустить. Позволь мне спросить, как может Бог освободить тебя от одиночества, когда ты сам не можешь освободиться от себя, даже если кто либо и помог тебе в этом? Как относительно этого для успокоения самого себя? Действительно, так запутать себя самым прекрасным образом, вопрос только в том, как же распутать! Ты даже впутал каких

то матросов... Это в тебе поднимается голос твоей наследственности.

— Что плохого в моих предках? Не были ли они здоровыми людьми с волчим аппетит к жизни? Не раздались ли они в короткое время на семь десятых Европы и три четверти Азии? Это вышло так естественно, что им даже не казалось, что они сделали что либо особенное. Как будто началось все с того, что Ивану Грозному кремлевские палаты показались низкими и душными; кроме того захотелось немного больше места для соколиной охоты. Пала Казань, да Сибирь в придачу. Петру Великому тоже захотелось свежего воздуха, только морского, с солью, с приправой, он и решил прорубить небольшое окошечко. Только сделал так напористо, что чуть не свалил всю стену. Николаю Первому было не до свежего воздуха, его было у него достаточно. Что ему заутелось, это высоты, откуда можно было бы охватить все царство. Пристегнули и Кавказ, да еще кое что... Предки расширялись быстро, в нормальном росте здорового организма, принимая завоеванных как равных, деля с ними аппетит и страсть к жизни!

...А их страсть к жизни! Не жили ли они полной, возбужденной жизнью, тратя состояние то на женщин, то на карты? Не жили ли они миром крайностей и контрастов, несовместимым и непостижимым, как безкрайнее пространство между вершинами и низинами, споря в одно и то же время, с той же самой подкупающей горячностью о Боге и проститутке, крестясь набожно и заносся нож той же самой рукой... В этом даже

какая то особенно сладкая омерзительность, которую они смаковали сами...

— Насчет омерзительность очень хорошо! И тоже с той же страстностью, что и давече о таинственном мире! Но дальше!

—... от какого то вкуса ко всему, только не теплему. Они торопили свою жизнь, жгли ее сильным пламенем, но не спеша, поколениями, с вековой терпеливостью создавали особую породу лошади. Они не тратили времени на выращивание комнатой собачки, а так же терпеливо скрещивали собак и волков, пока не породили волкодава, крепкое, яростное существо с особой хваткой бросаться на горло волка и сбивать его с ног... Не выходили ли они, когда приходило трудное время, лечь в засаду и ждать врага, кто бы он ни был, печенег ли, татарин, ливонский рыцарь, пан, турок, швед, немец? Не умирали ли они под стенами чуть ли ни всех больших городов, на вершинах, в долинах — чужих и своих, у врат Варшавы, Вены, Берлина, Парижа? Но они не забывали и о других своих требованиях. Вот, где их притягивали планетарные сферы с тем же характерным для них возбужденным жаром, когда они находили себя захваченными одной маниакальной мыслью, даже если только на короткое время...

— Даже, если только для короткой игры!

— Инагда даже трудно было судить, где они жили, на земле...

— Или в том же таинственном мире?

— Хотя бы и так! Но как часто они брали Бога из того мира, из Его "ничего-не-видевшего,

ничего-не-слышавшего" существования к убогости человеческой жизни, к тюрьмам, к темным и сырым подвалам своих городов; к искалеченным детям, к убогим и сырým, приниженным и оскорбленным. . Как часто они схватывались в ручную, если Бог казался отчужденным и равнодушным к своим же собственным созданиям, к тем, кого он создал по образу своему?... Можно согласиться...

— Согласиться в чем? Ну, ну, еще дальше!

— Можно согласиться, что часто это было сделано на расплывчатых и неясных началах, вне определенной формы, словно их дух или души, отрываясь от тел в том воздушном полете к таинственным мирам, теряли в нем форму, пропорцию, перспективу... Нет, ничего особенно плохого не было с моими предками, даже если, как было сказано, у них и были частенько и извсроты и изломы! Это так, но не была ли их жизнь полна и ценна? Они не были теплыми, вот где я стою позади своего самого сильного убеждения! Можно обвинить их в чем угодно, но не в этом! Они отдавали полной мерой и столько же брали. Будь это страсть или голод... Ненасытимый голод к жизни! Боже мой, разве у меня самого нет его?

Акимов встал и в невероятном волнении прошелся по комнате, приведенный к реальности голосом радиовещателя, закончившего музыкальную программу. Комната опять показалась маленькой и удушливой. С непередаваемым отворачиванием Акимов обвел глазами убожество мебели, маленькую плитку на пустом ящике в углу,

засыпанную горелыми зёрнами кофе, другой ящик за окном, который служил ледником. Он прижался горячим лбом к холодному стеклу окна. Монотонно стучал по крыше дождь. Вдалеке глухо прогремел трамвай.

Он выключил радио и открыл дверь в коридор. Три пролета внизу кто-то хлопнул дверью и чей-то быстрый голос потонул в громком и настойчивом кашле жильца во втором этаже.

На минуту снова стало тихо, затем Акимов услышал голос женщины в соседней комнате, рассказывавшей одну и ту же историю несколько раз. Она начинала историю о морском капитане, с которым судьба свела ее однажды, и о великом множестве чудесных приключениях, которые случались с ним, особенно о том, как ему удалось выправить свои манеры за столом. Это обстоятельство производило на нее особое впечатление, словно оно касалось такого явления, как чудесное прозрение слепых или исцеление прокаженных.

— А, затем, он умер...

Акимов уже знал самый тон, каким она скажет это, после которого наступала длинная пауза, словно она сама была потеряна в размышлениях о смерти или о той напрасной потере энергии относительно капитанских манер. Каждый раз в этот момент, словно все это было на пластинке, другой голос замечал нарочито случайным и в то же время недоверчивым тоном: — Умер? Обычно такие капитаны никогда не умирают! Полагаю, он был отлично застрахован?...

Мужской голос никогда не говорил другого

слова, казалось, что словом “полагаю” он хотел придать какое то особое значение. Женский голос смолк и настумала опять длинная пауза; затем она произносила печально и торжественно — ах, я жалею, что опять сказала...

Наступала опять тишина, в которой она опять могла возвратиться памятью к тому необыкновенному человеку, повторяя в своей голове поразительные и чудесные вещи, которые по временам случаются с людьми. Она начинала мягко насвистывать, останавливалась, напевала строку или две, и Акимов слышал ее влажный голос, словно полный слез, певший “Любовь, вернись ко мне”. Он представлял, как она скорбно потрясала малиновыми щеками и львиной головой с энергией давно ушедшей молодости. Память о капитане снова оказывало на нее непоборимо магическую власть, и чтобы отвести ее, она начинала насвистывать громче и немного резче.

Тогда открывалась дверь напротив в коридоре и на пороге показывался человек в длинном нитяном белье, держась за края полотенца, перекинутого через плечи. Он всматривался через полсвет коридора в направлении свиста и говорил на полонину жалующимся, на половину задумчивым тоном:

— Годдэм-ит, хотел бы я купить этот свисточек!

Акимов надел мокрый дождевик, спустился по длинной лестнице и нерешительно открыл наружную дверь. На углу Филмора и Пост он остановился, думая в какую сторону идти. Порывы холодного ветра несли по улице пыль

моросящего дождя.

Филмор был почти пуст. Газетчики с поднятыми плечами и втянутыми в них головами жались тесно к стенам домов, выкрикивая время от времени осипшими голосами заголовки утренних новостей.

Филмор был верен себе даже в дождь и холодный ветер. Уродливые арки придавливали своей тяжестью редких пешеходов, спешивших убраться по домам. Группа подростков показала из боковой улицы. Они прошли мимо Акимова и остановились около витрины десятицентовой фотографии. У некоторых из них были накрашены щеки и губы и подведены брови. Их вел неопределенного возраста женоподобный человек, известный под именем Мадам Мики, в растегнутом пальто и в желтом берете. Юноши были возбуждены и разглядывали дешево подкрашенные фотографии с необыкновенно живым интересом. Мадам Мики положил свою руку на плечо одного из юношей, поводя головой из стороны в сторону, словно его тонкая длинная шея не могла удержать слабого подбородка, тонко изогнутых губ, глубоко запавших глаз с томным выражением мечтательности, светлых волос свисавших над растопыренными ушами.

Редкие прохожие поглядывали на них с любопытством; они выпрямлялись, чтобы лучше посмотреть на молодых людей, но ветер снова перегибал их пополам и они продолжали свой путь.

Акимов взглянул на часы: было девять с половиной.

— Глеб уже вероятно закрыл магазин, — подумал он, представляя теплое, освещенное помещение, где можно было перекинуться словом с кем либо из посетителей.

Дождь на время прекратился. Ветер гнал облака в направлении главной части города, над которым висело небо почти цвета крови, казавшееся зловещим и трагическим. Это было не в первый раз, что он видел такое страшное небо над Сан Франциско, и не впервые видел одних и тех же людей на Филморе.

Прошла бородавчатая женщина, неся два тяжелых мешка, и ее лицо казалось скорбным. Казалось, что она шла во сне, с закрытыми от усталости глазами. За ней шел ее сын в дымном угаре опьянения, сквернословя с редким избытком слов и наслаждением, словно неизменно радуясь холодному дождю, ветру, пустынной улице, виду своей маленькой согбенной матери с тяжелой механической поступью.

Еврей ломбарщик закрыл своей магазин, попробовал оконные и дверные замки, посмотрел пытливо вверх и вниз по улице, как будто хотел убедиться, что на улице на самом деле ничего не было привлекательного, кроме опять начавшегося дождя. Он поднял плечи, нагнулся вперед, и пошел как приговоренный по улице к дверям сигарной лавки, за которой помещался конюшенного типа игорный дом.

Не доходя до магазина Глеба, Акимов замедлил ход. В дверях огромной массой стоял полисмен в блестящем от дождя плаще. За ним на мокром цементе тротуара в рваном платье жа-

лась маленькая фигура женщины. Она была пьяна и плакала размазанными по лицу слезами, скользя руками по мокрому дождевику полисмэна и пытаясь подняться. Ее чулки были порваны, ноги на половину открыты, мокрые волосы падали на испуганное, как у зверька, лицо.

— Нельзя ли впустить ее внутрь? — спросил Акимов, чувствуя, что ему самому стало нестерпимо холодно и как то необыкновенно пусто. — Я знаю хозяина, он ничего не будет иметь против, я уверен.

Полисмэн продолжал стоять молчаливо и неподвижно. Он казался огромной чугунной статуей, по странной прихоти судьбы перемещенной из парка или с площади перед дверью магазина игрушек и картинных рам в холодную сырую ночь, сторожа трясущуюся женщину в легком рванов платье, на фоне мрачных темных домов, под зловеще-красным небом Сан Франциско.

Внезапно женщина перестала плакать. Она вся подобралась, словно готовясь к прыжку. С коготким завыванием сирены выкатился сквозь косой дождь черный полицейский патрульный автомобиль. Он остановился напротив и два полисмэна сошли с переднего сидения.

При их приближении лицо женщины приняло выражение отчаяния. Она подняла сжатые в пальцах руки к лицу, словно таким образом она могла защититься.

— Ну-ка, милочка, — нагнулся над ней один из полисмэнов живо и почти нежно, — поедem, прокатимся!

Массивная фигура чугунного полисмэна про-

явила признаки жизни; он переступил с ноги на ногу. Закрыв руками лицо, женщина старалась вжаться в щель двери, как напуганная, загнанная в тупик мышь.

Полисмэны продолжали неспеша перекидываться словами, словно забыв о ней.

— Ну, что-ж, детка, — спохватился полисмэн, наклоняясь над ней, чтобы поймать ее под руку, — тронулись!

Он поднял ее и слегка подтолкнул в направлении открытой двери патрульного автомобиля, сел рядом с ней, ближе к открытой двери, и положил ноги на противоположную скамью.

Автомобиль прошуршал мягко шинами по мокрой мостовой. Улица опять стала пустой. Только на углу, под неровным светом качающегося фонаря, стоял полисмэн, сверкая дождевиком, и белая дождевая пыль закрывала его как странное необычное видение.

Магазин Глеба был закрыт. — Значить уже после десяти, — равнодушно подумал Акимов, в тоже время оставаясь взволнованным по поводу женщины. Он пошел обратно, отворачиваясь от пронизывающего ветра, думая о ней и о ее руках. Он взгляделся в белое облако водяной пыли, и вдруг ему показалась масса рук, в которой были старые и молодые, распухшие, с тяжелыми голубовато-зелеными венами, словно наполненными черной кровью; переломанные, с перетянутыми сухожилиями, с раздавленными и скрюченными пальцами...

Он вспомнил о больших волосатых руках Морфи, лежавших большой горкой над одеалом.

Как они дрожали в тот последний раз, когда он видел их, и когда Морфи с внезапной тревогой спросил; — ну, как дела в городе?

Акимов знал, что Морфи боялся уйти из госпиталя, и делал все в своих силах, чтобы оттянуть тот неприятный день. Он думал о складах на Фолсом и Харрисон стрит, превращенных во временные ночлежные дома, населенные незанятыми, выбитыми из привычной колеи людьми в трагическую зиму великой депрессии. О суповой линии в квартал длины. Пока дрожали руки, красивое лицо ирландца выражало тревогу; его громоподобный голос становился мягким и просящим...

Он вспомнил о Морфи теперь, стоя на том углу, где еще недавно стоял огромный полисмен в сверкающем дождевике, как тот просил навесить его, когда он выпишется из госпиталя. Акимов достал записную книжку и под неровным светом фонаря нашел адрес Морфи. Место было в двух кварталах, но Акимов продолжал стоять в нерешительности с открытой книжкой в руках, прикрывая ее от дождя, глядя на красное небо, казавшееся еще более зловещим, словно готовя страшный фон чему то неотвратимому.

Знакомый запах охватил его, когда открыв дверь одного из жутких домов на О'Фаррел стрит, он ошупью добрался до лестницы. Медленно, чувствуя тяжесть необыкновенной подавленности, он поднялся до второго этажа, готовый повернуть и выйти опять на улицу при первом же знаке сомнения. В коридоре второго этажа горела красная лампочка, свисая на длин-

ном шнуре, голая, забрызганная известкой, и казалось, что вату полутемноту проплывали невидимые волны зловещего неба сквозь настороженную тишину страшной напряженности.

Он стоял в нерешительности, держась за перила лестницы, в неясности качающегося красного огня, совсем уже готовый вернуться и выйти под свежий воздух ночи, когда за одной из дверей он услышал что то похожее на стон... Он повернулся на звук и с судорожной напряженностью прислушался. Стон повторился еще раз с коротким хриплым звуком и грохотом сбитого стула. Акимов осторожно приблизился к двери, постучал, но все опять стало напряженно тихо. Он нашарил дверную ручку и осторожно повернул ее.

Он открыл дверь. На кровати лежала огромная фигура. Он узнал его моментально по той манере странного молчаливого напряжения, но его руки не лежали обычной горкой на ровно вздымавшейся груди. Они были раскинуты, его голова покоилась в ногах кровати, и только его ноги еще проявляли признаки жизни, особенно та, которая только что опрокинула стул и еще продолжала вздрагивать.

На комод, в луже пролитого виски, лежала пустая бутылка и свет единственной лампочки под серым потолком отражался в мутном зеркале, в липкой луже, в белизне широко открытых глаз Морфи, который казался мертвым своим огромным, пустым, красивым лицом, и единственно живой, кроме вздрагивающейся ноги, казались рваные раны перерезанного горла и рук,

из которых сочилась кровь.

Ничего не было странного в том, что Морфи, в своей первый день по выходе из госпиталя, лежал с перерезанным горлом и кистями рук в мрачной, самоубийственной комнате зловещего дома на О'Фаррел стрит, в ненастную ночь, когда над Сан Франциско нависало жутко-кровавое небо, полное зловещих предзнаменований, пока все это не стало казаться необычным и фантастическим: внезапно набившиеся в тесном коридоре люди в возбужденном любопытстве, призрачный красный свет одинокой лампочки, плеснувшей по неподвижному лицу Морфи, его огромное тело, застрявшее на носилках на повороте лестнице, и только единственно реальной казалась лившаяся в ушах Акимова невыразимо страстная ария доктора Фауста.

Октябрь, 1940
Сан Франциско

Комната над городом

Над городом была весна, был праздник в пестрых флагах, реявших в небе над Маркет-стрит, в соленой свежести ветра, в громадных полотнищах с калифорнийскими гербами, смачно хлопавших парусами о чугунные столбы стройных трехголовых фонарей.

Со стороны Ферри, откуда начинался парад, неслись отголоски звонкого марша, и на него гарцевал на огненно-золотых лошадях отряд конной полиции. С конца Маркет, со стороны Сити Холла визжали сирены и полисмены припадали кожаными куртками к рулям мотоциклов; кто-то в открытом лимузине приподнимал цилиндр и церемонно раскланивался по сторонам.

Над широкими тротуарами поднималась волнующая симфония улицы, весенний гимн радостного дня, в котором сливались голоса, крики газетчиков, звуки радио, рвавшиеся из магазинов, цокот копыт, вой сирен, нарастающие звуки марша, гудки паровозов с бухты. Толпы матросов с только что прибывшего флота, торопливо растекались по улицам, плотоядно заглядывая в

лица женщин. Новые толпы вливались с боковых улиц и пересекали Маркет неудержимыми потоками, автомобили захлебывались в визге и стоне тормозов, в уличный шум врывались тревожные сирены, неслись, бороздя зигзагами Маркет, амбулансы или пожарные автомобили, и трамваи тогда останавливались покорные, как лошади и казалось опускали головы в передышке. Но сирены таяли бесследно, звонкий гул и шум нарастал вновь, и этот гул, далекие отголоски марша, гудки, грохот, крики, рельсовый скрежит трамваев — все это опять восставало возбуждающей симфонией весны.

Он шел, возбужденный пьянящим воздухом весны, в том состоянии безпричинного и внезапного восторга, в каком однажды, в неудержимом желании чего от особенного и звонкого, он дал себе имя Сигизмунда Мальчужинского. Он шел с толпой мимо пивных, за прилавками которых бегали потные бартендеры с пивными кружками, нанизанными на пальцы; мимо платформ, на которых торговцы в докторских халатах сбывали патентованные лекарства и измеряли давление крови, а зубные врачи, рекламируя свои кабинеты, бесплатно рвали зубы желающим. Он шел не принадлежа ни толпе, ни себе, как посторонний, прислушиваясь к тому, что звучало в его мозгу, в котором появлялись, как на сцене, действующие лица в сложной завязки, и для которой он не знал ни начала, ни конца. Он прислушивался зачарованно, почти с затенным дыханием, чтобы не встревожить этот неожиданно появившийся из ничто мир, начиная жить жиз-

нями этих странных людей, неизвестных еще минуту тому назад, но к которым он чувствовал внутреннюю привязанность собственности.

Ему становилось жарко от невероятного восторга таинственного внутреннего горения, он начинал смотреть с недоумением на толпу, на флаги, слушать сквозь звуки голосов, звучавших в его ушах, другие звуки, гул улицы, нарастающий звон марша.

Чтобы остудить этот внезапно нахлынувший жар горения и записать то, что можно было успеть запомнить, он шел мимо витрин библейских издательств и юридических библиотек, направляясь к Городскому Центру. Здания площади отрезвляли его классической строгостью, он трогал холодный камень Библиотеки, вглядываясь в имена, высеченные на камне фронтона, любуясь деталями архитектурного орнамента.

Он проходил дальше к центру площади, и прожорливые как саранча голуби тяжело поднимались из под самых его ног; он сидел на скамью, рядом с греющимися на солнце нищими этого богатого города, он становился серьезным и сосредоточенным, радуясь и в то же время боясь того потока, который бил в его голову. Он не удерживал его, и вновь состояние необыкновенного волнения охватывало его, он поднимался и шел дальше, почти наступая на голубей, нетерпеливо обгоняя бредущих стриков и проталкиваясь среди играющих детей. Он поднимался по широким ступеням Сити Холла, сталкиваясь с репортерами, адвокатами и дельца и, хлопавших по своим ногам туго набитыми порт-

фелями. Стекла бронзовых дверей отражали площадь в желтых и голубых цветах, навесы Аудитории, гранит Штатного Здания с медведем на флаге Калифорнийской республики, барельефные антефиксы Библиотеки.

Он поднимался по полукруглой лестнице, проходил мимо дубовых дверей кабинета мэра города, мимо камер муниципальных судов, пробираясь сквозь шумную толпу сутяг, адвокатов и свидетелей. Гул шагов по плитам пола и голоса доходили глухими, словно завернутыми в вату.

Он шел под самый потолок, словно убегая от теснивших его образов и видений, и в то же время желая сосредоточиться, чтобы никто не мешал ему пристальнее приглядеться и прислушаться к ним. Он знал, что это было необъяснимое движение творчества, смутный и внезапный подход к тому, что будут теперь мучить и преследовать его, то радуясь, то пугаясь сложности его...

С другой стороны Сити Холла он проходил к Опере, чтобы остановиться там и впитать в себя величественный фронтон Холла, триглифы фриза, выгоревшую под солнцем позолоту медного купола, словно они заключали в себе то, что еще минуту тому назад теснило его мозг.

Он прощался с площадью, переходил улицу и сразу же вступал в район дешевых квартир. В дверях гаражей виднелись вымазанные в машинном масле механики; на улице играли оборванные дети, старики и старухи трелись на ступенях грязных, насупленных домов. Из пивных шел застоявшийся запах пива, переваренных со-

сисек и кислой капусты.

Он шел медленно, и великие замыслы, разгоревшиеся в его голове и теснившие ее, загасали в нем. Он уже сомневался во многих вещах, казавшихся такими бесспорными на площади, ему уже не представлялось заманчивым имя Сигизмунда Мальчужинского, высеченное на камне Библиотеки. Он начинал иронизировать, как мог только нищий, уверяя себя, что во всем есть две стороны медали, и кто поручиться, что его певучим именем не будут названы третьеразрядные отели, пивные и трактиры рабочих кварталов.

— Не именем ли Вольтера названа эта гостиница, — говорил он себе, — не Франклин ли смотрит с грязной вывески магазина, продающего поддержанную мебель? — Он повторял это громко, горько смеясь при этом, и прохожие бросали на него удивленные взгляды, а дети переставали играть и заливались смехом вместе с ним. Но его ничего не трогало, он даже не замечал, каким контрастом это было тому, что зажигало и вдохновляло его так недавно! Кусок мяса, пропитанного кровавым соком, в груде поджаренного картофеля и нарезанного ломтями лука, представлялся невыполнимой мечтой, перед которой таяли самые увлекательные образы фантазии.

Он осязал податливую мягкость хлеба, запах лука начинал преследовать его, и чтобы заглушить голод, он начинал жевать спичку. От долгого пути он чувствовал усталость; он недавно перенес тяжелую болезнь, в которой был близок

к смерти, а бедность так давно одолела им, что он уже стал к ней равнодушным.

После высокого подъема и состояния удивительной радости он начинал чувствовать упадок духа и усталость. Он не мог себе представить, что еще недавно он успокаивал свой лихорадочный жар прикосновением к холодным камням здания. Кроме того он уже видел лестницу своего дома и невольно замедлял шаги, оттягивая тот разговор, который он знал неизбежно будет повторяться между ним и вдовой генерала, крепко державшей в своих маленьких жестких ручках дом меблированных комнат, населенных случайными людьми...

Но иногда он приходил домой под сильным креном, и восемьдесят ступеней, отделяющих тротуар от его комнаты над чердаком, осаждал с настойчивостью пьяного человека. Внизу, упревав кулачки в бока, расставив ноги, стояла вдова, будя в его одурманенном сознании позднее раскаяние упоминанием о беспутстве и бражниках, но он мужественно, как смертельно раненый зверь, прогибаясь в ребрах и цеплясь сбитыми пальцами за балюстраду лестницы, поднимался выше и выше, к пределу своего настойчивого устремления.

Он добирался до первой площадки, на которой уже стоял, давясь от безвучного смеха, со слезами на кроличьих глазах, Сушков, старик с розовым детским лицом и плешивой головой в розовых пятнах, чтобы крикнуть ему несколько обидных слов. Но Сигизмунд предупреждал его,

он всматривался в него долго и сосредоточенно, словно ничего не видел более интересного, поднимал палец кверху и многозначительно говорил — переоценка ценностей!, любимое выражение Сушкова, который был бухгалтером и жил на какие то таинственные средства.

Голос вдовы поднимался выше и в тон ему, а больше от намека, Сушков придавал лицу суровую сдержанность благородного негодования, к которому никак не шло ехидство, игравшее в углах рта и в глазах еще мокрых от слез.

На третьей площадке, оперевшись о перила и заглядывая вниз, сурово и страдающе смотрела на него Поля. Она не оправдывала ни его разговоров, в которых, казалось, говорил кто то другой, а не он, ни этих странных крайностей от скромности до заносчивости. Меньше же всего она оправдывала это имя — Сигизмунд Мальчужинский! Что же было лучше — Сережа, да Сережа! Она мучилась за него и жалела, жалость, не сестра ли она любви?

Трснутый ее жалостью, он останавливался около нее. У него так много было сказать ей, например, то, что он не допускал возможности существования более достойной, а главное, более красивой женщины, чем сна, но сейчас же начинал убеждать себя в том, что выборы королев в различных частях света решительно отвергали его доводы.

Поля смотрела на него молча, не слушая, зная, что в каждом его слове мог быть подвох. Она не строила никаких иллюзий относительно своей красоты, зная, что на этот счет не могло быть

двух мнений. Притом она боялась, что он свалится на ее площадке и ей придется опять звать на помощь других жильцов, которые, не задерживая в себе бранных слов, поволокут его вверх по лестнице.

Но он успел преодолеть свою слабость и после окончательных усилий открывал дверь на чердак, осаждал последний пролет лестницы, и восемь окон необыкновенной комнаты высоко над другими домами, дрожа стеклами от неизбежного в Сан Франциско ветра, смотрели на него. Свисавшее с потолка медное сооружение, которое вдова называло люстрой, хотя по форме оно напоминало якорь, раскачивалось так, что даже его движения становились незаметными. Внизу, под окнами, лежал глубоко внизу город. Иногда над городом плыли волны тумана и огни чуть пробивались сквозь них, напоминая фосфористое море. Он останавливался, как замороженный, к этому времени пары алкоголя полностью овладевали им; фосфористая игра напоминала о море, и ему вдруг начинало казаться, что он на корабле, и что судьба многих поручена ему. Он вскидывал окно, открывал его, ухватывался за косяки, ставшие в его воображении штурвалом, и остро вглядывался в клубящийся туман.

Когда голубой меч авиационного маяка с купола Сити Холла раскраивал пополам небо, Сигизмунд говорил себе: “еже, так недалеко и до аварии!” Но не успевал он произнести эти слова, как ему уже казалось, что было поздно изменить курс и они неслись на шпиль купола. Крен к тому времени становился таким отчаян-

ным, что он, подкашиваясь и совершенно прогибаясь, должен был крепче вливаться в косяки окна, чтобы не упасть. Движение становилось более бешеным и уже готово было выйти из под контроля. Он не мог не сознавать серьезности положения и тягости ответственности, он хотел во что бы то ни стало обогнуть надвигающийся с потрясающей быстротой маяк, и вспоминая все команды, вычитанные в морских рассказах, он ревел, кидая их в туман, останавливаясь только тогда, когда с мучительным ощущением горькой желчи и желудочного сока, извергал за окно отравленную алкоголем пищу. Но тишина начинала действовать на него удручающе, он начинал кричать еще больше, вращая с настойчивой решимостью и отвагой воображаемый штурвал. Он говорил себе:— нет ничего удивительного в том, что мы сейчас переживем небывалую еще катастрофу!

Но ему тотчас же приходила мысль, что такой конец вызовет шумный протест в жильцах меблированного дома, мечтающих о пресечении старческой дряхлости “при нотариусе и враче”. Он вспоминал генеральскую вдову и ее коллекцию престарелых попугаев, на которых она расточала остаток своей жертвенной любви. Он проникался такой глубокой жалостью к попугаям, вдове, бухгалтеру, Поле и другим жильцам, что решал приложить все усилия, чтобы избежать надвигающейся катастрофы.

Он говорил себе, отходя от приступов рвоты, — за что? За что гибнуть этим прекрасным людям? Что останется после них и что сможет

вознаградить потерю этих ни в чем неповинных людей? — и чтобы не оставлять никакого сомнения, он горько добавлял — торричеллева пустота!

Он хотел потрясти этими вопросами небо, но оно уже так часто было потрясаемо в свое время, что оставалось совершенно равнодушным. Он хотел развести руками в знак недоумения и полной покорности, но первая же попытка обнаруживала несуществование этого убедительного жеста. Еще секунда и все должно было рухнуть!

В этот роковой момент он вдруг замечал якорообразную люстру, и в последней отчаянной надежде решал пустить ее в действие. Он делал попытку пробраться к ней, что, увы, было невыполнимо. Тогда он хотел обратить внимание других на нее, чтобы, не создавая паники, дать им знать, что если небо остается безучастным, чтобы сделать даже маленькую попытку остановить это дьявольское движение, так пусть земля сделает это! Спасение в якорях, даже если они и покрыты и проедены тысячелетней ржавчиной! Но его голос уже пропал, он с трудом слышал его нечленораздельный хрип, но мог ли он обрекать на гибель других только потому, что не мог сказать простых слов: спасайся, кто может!

Гениальная мысль осеняла его. Цепляясь крепче рукой за косяк окна, он включал радио, повернул кнопку усилителя на полный ход, и несколько секунд, которые он ждал, пока накалятся лампочки, были поистине чудовищны! И когда, наконец, оглушительнейшие звуки джас-

совых саксофонов и тромбсенов заполняли его комнату и от них еще сильнее стали сотрясаться восемь окон, жилец в комнате под ним, нервный, как фокстерьер и злой, как сатана, начинал в бешенстве стучать специально заготовленным для этой цели шестом в потолок. Он даже вбежал на лестницу и раздраженно стучал кулаком в дверь, и Сигизмунд видел его бешеное, оторванное от сна лицо. В знак покорной неизбежности он закрывал радио и по энергии попадал на диван.

Жилец исчезал, но Сигизмунд начинал ждать прихода вдовы. Он представлял маленькие, жилистые ручки душильницы, и начинал уверять себя, что ими она отправила на тот свет добрый десяток исторических персонажей в дополнение к своему мужу, хотя краем сознания он припоминал, что его превосходительство скончался от водянки. Он начинал ждать, что она придет и деловито протянет к его горлу свои руки с засученными рукавами. И когда он слышал шаги на лестнице, он приготавливался к неизбежному и даже оттягивал галстук и растегивал воротник, чтобы доставить вдове больше удобства.

Дверь открывалась, он делал движение встать и раскланяться, но это была Поля, молчаливая, хмурая и суровая. Она останавливалась на пороге и не сдерживала в себе укоризненного замечания — Сережа, что же это? Затем решительно подходила к нему, снимала с его головы шляпу, стаскивала пальто и мокрым полотенцем вытирала лицо. Она насильно вливала в его горло молоко, и, когда обессилив окончательно, он на-

чинал трястись зябкой дрожью, она приносила ватное одеяло, стаскивала с него ботинки и накрывала с голозой.

Он впадал в забытие, но дьявольская карусель то вскидывала его, то уходила из под него и тогда казалось, что он попадал на дыбу, на крючках которой разрывались его внутренности. Он вскидывал налитую свинцом голову и видел Полю, пришивавшую вырванные с мясом пуговицы его пальто. Она хмуро перекусывала нитку, качала головой как бы в ответ на свои мысли, и говорила в рифму — лучше жить с дикими зверями, чем с такими людьми! Она подходила к нему, заглядывала в лицо. и опять с прорвавшейся нежностью говорила — Сережа, затем же это все?...

Обычно следующий день он проводил дома. Внизу, под восьмью окнами лежал Сан Франциско, серый. перламутровый, мозаичный, вскидывающийся с горы на гору. Как тени гигантских птиц, скользили по стенам и крышам небоскребов тени реявших над городом аэропланов. Глубоко снизу, с улицы рвалась музыка рекламной колесницы, заворачивающей за угол.

Сигизмунд подходил к окну, и его глаза попадали на слова, начерченные бриллиантом: “Джерри, я люблю тебя.” Надпись говорила о других временах, о котором еще напоминает заглохший Сутро парк на высоком обрыве над Тихим океаном, где античные статуи завороженно смотрят с эспланды на океан, на чуть види-

мый сиреневый силуэт Фаралоновых островов. В этом доме в старые времена жила ирландская семья, дом был богат, в нем было две больших гостиных, танцевальный зал, комнаты для прислуги, башня над чердаком, поместительные конюшни.

Имя "Джерри" звучало призывом, печалью и надеждой. Сигизмунд начинал думать о девушке, поднимавшейся на башню, где она так же ходила от окна к окну, охваченная неудержимым волнением. Он начинал видеть ее, созвучную фигуру своих частых размышлений, рыжеволосую, гибкую, с веснушчатым лицом, горячую и непоследовательную, о чем свидетельствовала надпись, начинавшаяся буквами большого размера, и кончавшаяся чуть заметными.

Он смотрел на надпись, и рука, едившая бриллиантом по стеклу, внезапно оживала; она поправляла волнистую прядь рыжих волос; ее голос начинал петь, так как трудно было не петь в этой необыкновенной комнате, особенно, если сердце было тронuto любовью... Он включал радио и находил станцию, передающую симфонию. Он вдруг начинал чувствовать слабость, в которой узнавал неоспоримые признаки тяжелого и мучительного влюбления, он становился рассеянным, смотрел на город глазами, которые ничего не видели, таинственные леса музыкальных звуков проплывали мимо него, навевая на него грусть и глубокую нежность. Он знал, что ему не противостоять любви, музыка волновала его, он уже не мог найти себе места. Впервые за день одиночество становилось не под силу

тягостным.

Сигизмунд спускался вниз и останавливался около дверей Поли, но ему было стыдно перед ней, она была строга и добродетельна, как армия уличных проповедников. Это удерживало его и он проходил дальше, и Сушков, розовый старик, чуткий до всего того, что не казалось его самого, высовывал из за двери свою плешистую голову. Попугайный клетот вдовьих комнат оставался позади, он открывал дверь и выходил на улицу под свет фонарей.

Воровская физиономия вечернего Филмора смотрела на него. Грязные тротуаты были усеяны бумажными обрывками, у входов пустых магазинов с лотков продавались ножи, мыло, сводящее всякие пятна, действия которого демонстрировалось ту же на собственной рубашке продавца; старухи протягивали бесплатные приглашения от земельных агентов на загородные прогулки, после которых наименее устойчивые возвращались условными собственниками клочка песчанной земли. Молодые люди с порочными серыми лицами шныряли в толпе, перебирая в карманах брюк звенящее серебро. На углу, в маленькой коляске, сидел человеческий обрубок, глаза которого казалось говорили за всех калек. Он смотрел вдаль, поверх людей, по временам поворачивая бескровное лицо и потягивая из мундштука сигареты, пристроенного на стержне около верха коляске. Около него всегда стояло несколько человек, он был агентом и под обрубком его сухой ноги лежали пачки запрещенных к продаже лотерейных билетов.

Из холодных сквозняков негритянских гостиниц высыпали на вечернюю работу проститутки впереди своих сутенеров, нередко помогавших в переговорах с колебавшимися клиентами. Две белых женщины в одинаковых куцых меховых жакетах, не переставая азартно жевать жвачку, встречали каждого встречного обольстительным вопросом — не хочешь ли погреться со мной, малютка? — и то и дело сходили с Филмора в боковую улицу.

Проходил парад Армии Спасения с духовым оркестром, игравшим не совсем складно, но с поразительным воодушевлением: на другом углу перед толпой зевак и скучающих слушателей уличный проповедник громил человеческие пороки, жертвой которых был сам. Двое слепых медленно нащупывали тростью дорогу. Она вела его под руку, он играл на гитаре, подняв голову, и их голоса — они оба пели — звучали странно, так как они пели о страстной любви, так неидущей их неживым лицам.

Сигизмунд заходил в пивную, бросал гривенник на прилавок и кружка пива появлялась перед ним. Рядом с ним сидел старик с оплывшим бугристым лицом, совиным носом и свинячьими глазками. Его губы расплывались в сладострастную улыбку, глаза становились совсем маслянистыми, он заглядывал в разрез фартука кельнерши, поднимался над прилавком и начинал дуть в направлении рельефного раздвоения груди. Сигизмунд отворачивался в сторону, и с другой стороны видел женщину, лицо которой казалось знакомым. Незаметно, сжав глаза, он рас-

смаатривал ее в зеркале. Ее зеленые глаза вдруг напоминали девушку, поднимавшуюся на башню, и Корнелию Гиббинс, которую он навещал раз в неделю, чтобы безучастно объяснять, что "все простые глагольные формы образуются от двух основ". Корнелия слушала, шевелила губами в поисках слов, улыбалась и поспешно добавляла: "ах, ну, ну, конечно!" Он вспоминал, как она вставала, чтобы достать книгу, выгнув немного спину, свесив вперед руки, делая несколько первых шагов на пружинящихся ногах. Он вспомнил, как диктовал ей: "в зеленом воздухе от молодых листьев берез, она была, как призрак, часто посещавший меня; тогда все становилось нежно зеленым, словно была молодая весна, словно я смотрел через ее глаза..." Рука Корнелии остронавливалась несколько раз и начинала писать снова, ее голова опускалась ниже. Она знала книгу наизусть, там были такие шедевры: "молодые поэты засунули руки в карманы, но денег там не нашли", но это было ново. Она поднимала голову, и ее глаза были влажны и далеки, как у этой женщины, которую Сигизмунд рассматривал в зеркале...

Женщина с зелеными глазами вставала с высокого табурета и направлялась к выходу. Он поднимался и тоже выходил из пивной. Филмор становился пустым, поздние торгаши закрывали двери своих лавок.

Приглядываясь издалека, шла ему навстречу женщина в теплом пальто и мужской шляпе; она искусственно засмеялась и кокетливо поджала губы, но один зуб был длиннее других,

он налезал на нижнюю губу и хрустел, когда она закрывала рот. Женщина игриво ударила его в грудь, и словно между прочим сказала, что за углом у ней имеется теплая комната. Она испытующе смотрела на него, принимая его задумчивость за соображения на свой счет. Она заговаривала, так же словно между прочим, о своей таксе, перечисляя различные классы, но была подавлена сама упоминанием о неслыханно больших деньгах, ее смех терял обаяние кокетства, она продолжала пытливо смотреть на него, ожидая, что он даст ей четвертак на кофе. У ней были распухшие ноги, угловатые кости вытесняли кожу трепанных мужских ботинок; мешки под глазами тряслись, и только рот сводился во что то, что должно было бы быть улыбкой. Ей было по меньшей мере пятьдесят пять лет.

Женщина с зелеными глазами завернула за угол и скрылась в подъезде. Опять мысли о Корнелии пришли к нему... Они вышли к лестнице, спускавшейся к бухте. Поднимался легкий туман, сквозь который проглядывал маяк и серая масса тюрьмы на острове Алкатраз. "Как хорошо", тихо сказала она по русски, и сняла пальто. Ее руки забелели на бархате темно-зеленого платья. Она посмотрела на него и улыбнулась мягко и стыдливо. "Гибби", сказал он неожиданно для себя, "я больше не могу", и сделал движение к ней. "Ах, ну, ну, конечно!" сказала она, и обняла его за голову. Прохлада ее руки коснулась его горячего лица, листья металлического украшения, приколотого к ее платью, врезались в его ухо. Он повернул

голову, прижатую к ее груди, и взглянул на нее. Она наклонилась над ним с раскрытыми губами, глубоко вздохнув и закрыв глаза...

Сигизмунд возвращался к себе, в комнату над городом, и не зажигая света, смотрел на улицы внизу. Огненное зарево висело над Маркет стрит, придавая драматический эффект шпицу купола Сити Холла и остриям небоскребов. Золотая паутина кривых улиц опутывала город, сине-красные огни мерцали на бухте, огни других городов сливались в одно далекое мерцание.

Он включал радио и поспешно находил станцию, передающую симфонию. Он начинал ходить по комнате и становился нежен, как в минуты раскаяния, высокого подъема или во время любви к женщине. Сквозь матерчатый экран радио вылетали, как яркие воздушные шары, облака божественных звуков, наполняя всю комнату. Их остановилось все больше и больше, в их круглых поверхностях отражались расходившиеся окна и золотая паутина города. Цветные шары поднимались к потолку, ударялись и тихо опускались; они были стеклянные и, ударяясь друг о друга, издавали тонкий мелодичный звон. Они реяли между перилами лестницы перед стеной, на которой всегда от света окон был треугольник на подобии тимпана классических зданий. Вместе с воздушными шарами комната наполнялась призраками: они то появлялись на тимпане, то следили с него, и Сигизмунд узнавал в них героические персонажи задуманных вещей; проходили женщины, мутные

от любви зеленые глаза Корнелии Гиббинс проплывали мимо, улыбаясь мягко и стыдливо. Над оркестром появлялся дирижер, и рука с высунувшейся манжетой из под рукава фрака парила в воздухе, вздувались жилы на шее виолончелиста, низко опустившего голову над грифом, взмахивала рука, колебля и сотрясая клубы золотистой пыли, переливавшейся миллионами оттенков, и тогда в самом высоком месте тимпана, загораживая дирижера, появлялся кто то как надсмотрщик, и его бич, повторявший движение палочки, начинал свистать в воздухе, и под этот свист поднимались с напряженными мускулами и вздутыми жилами толпы, и работы длительных созиданий начинали свой ритмичный ход. Сигизмунд повторял эти движение, и мысли, достигавшие на площади Городского Центра наибольшей остроты, вновь возвращались к нему.

Как и музыка, его взволнованность достигала апогея, так как он начинал ждать появления того, что уже повторялось несколько раз. Он прислушивался и начинал различать шум открываемых дверей конюшни, цоканье копыт по камням мостовой и шуршание шин старомодного кабриолета, и полный человек в белом жилете, голубом фраке с золотыми пуговицами, играющий с молодым тигренком набалдашником трости, усеянной драгоценными камнями, целиком охватывал его взволнованное воображение.

Через минуту открывалась дверь в его комнату и входил гос. один в фраке, раскланиваясь церемонно и прижимая трость к себе. Некото-

рое время спустя он оказывался уже в рабочей блузе; он присаживался к столу и разглаживал свои пухлые руки. Черная грива волос, глаза с поразительным блеском, черные усы резко выступали на бели. не его блузы, лица, красивых белых рук. Он смотрел, улыбался и говорил:

— Мой друг, я вижу, что и вы живете в этой таинственной лаборатории, куда никогда не заглянет посторонний любопытный глаз! Я приглядываясь к вам, и вижу, что и вы доходите до расточительности, отличающей художника от скряги, принявшего игру солнечных лучей сквозь листву за золотые монеты! О, как хорошо знаю я это замечательное чувство! Вот я закрываю глаза, и парад двух с лишним тысяч характеров, созданных мной, проходит перед мной, и я чувствую себя, как король, оставивший после себя обогащенный и осчастливленный народ!...

Господин в блузе делал широкое движение рукой и смотрел на Сигизмунда с улыбкой человека замороженного счастьем.

— Мой друг, — продолжал он, нагибаясь вперед над столом, — мы знаем этот изумительный источник! Я присматриваюсь к себе, как присматриваюсь к вам и к другим, и вижу, что я обладаю в одном и семь десятых метра всеми несоответствиями, всеми контрастами возможными вообще; и те, кто думают, что я тщеславный, экстравагантный, упрямый, закосчивый, фат, небрежный, ленивый, бездумный, непостоянный, болтун, бестактный, дурно воспитанный, бесцеремонный, капризный, своенравный, так же

правы как и те, которые могут сказать, что я экономный, энергичный, отважный, скромный, труженник, постоянный, деликатный, вежливый, всегда веселый. Те, кто считают меня за труса, так же правы как и те, кто уверяют, что я чрезвычайно храбр. В общем, какой бы ни был, сведующий или невежда, талантливый или бездачный, ничто так не поражает меня, как я сам! И я начинаю верить, что я инструмент, на котором играют обстоятельства! И существует ли этот калейдоскоп только потому, что в души тех, кто силен и способен на обрисовку всех свойств человеческого сердца, случай бросает все эти качества вместе, чтобы они могли силой своего воображения чувствовать, что они зарисовывают? И наблюдение, не есть ли это особая память, приспособленная в помощь этому живому воображению? Я начинаю думать так...

Господин в блузе встал и подошел к окну, стоя спиной к Сигизмунду. В комнате еще реяли воздушные шары, издавая тонкий, музыкальный звон. Сигизмунд сидел не двигаясь, чтобы не пропустить ни одного слова или движения.

— Мой друг, — продолжал тот нерешительно, словно борясь со своим волнением, — вы вспоминаете обстоятельства моей смерти? Я оставил массу неоконченной работы. Я был серьезно болен, но я и не предполагал, что мои дни были сочтены. Я просил врача о шести месяцах, в которые мог бы привести в порядок свои неоконченные труды. У меня был грандиозный план создания Человеческой Комедии... все то, что я написал раньше, могло бы быть только

предисловием к этой громадной работе... Между прочим, сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что и Человеческая Комедия со всем тем, что было написано до нее, была только предисловием ко всей моей жизни, так полна она была!... Врач ничего не ответил, он смотрел на меня умными глазами старого опытного доктора, глазами, которые видят насквозь. “Но шесть недель вы дадите мне?” Никогда ничего я не хотел так страстно! Только этот срок! Шесть недель и лихорадка, уже целая вечность! Часы, как дни, да и ночи еще не потеряны! И опять он посмотрел на меня, не сказав ничего. “Но шесть дней, конечно, вы не откажите мне в них!” Я уже начал сдаваться. Только шесть дней! У меня, как у писателя, оставался ряд обязательств перед обществом, за шесть дней я бы мог набросать планы неоконченных вещей, другие могли бы продолжить их... Я бы сделал максимум работы, человеческая воля творит чудеса, когда хочет! Наконец... наконец я просто хотел бы перелистать пятьдесят томов, что я написал за свою жизнь! “Шесть дней,” повторил я врачу, “единственное мое страстное желание теперь!” Врач подошел ко мне, покачал головой, и положил руку на плечо. “Мсьё Бальзак”, сказал он, “я боюсь, что это случится в течение ближайших шести часов”...

Господин в блузе отвел глаза в сторону и опять наступила длинная пауза, которую боялся нарушить Сигизмунд.

— Видите, так вот, грандиозный план создания Человеческой Комедии был выполнен толь-

ко частью... Мой друг, я хочу, это цель моих посещений вас... Я хочу, чтобы вы...

Сигизмунд слушал внимательно, с нарастающим волнением, стараясь не пропустить ни одного слова. Полное лицо ночного гостя, наклоненное выжидательно к нему, мягкие руки, округлыми движениями дополнявшие его слова, голос, звучащий убедительно и страстно, начинали вдруг меняться. Еще короткое время, и Бальзака, это был Онорé де Бальзак, уже не было.

Необыкновенная комната продолжала таить в себе множество жизней, казалось, что в ней горело солнце, не менее ослепительное, чем дневное.

Сигизмунд Мальчужинский засыпал легким, рассеянным сном, который был тоже жизнью, но жизнью прозрачной и невесомой, словно она покоилась на цветных шарах, еще скользящих в воздухе.

Рассвет прерывал сон. Его призрачный свет наполнял комнату, она остановилась мягко-зеленой, но ее цвет не будил в нем никаких ассоциаций. Приподнявшись на локти, он смотрел в окно, в которое вливался этот призрачный свет. Там росло и поднималось лицо, черты которого были знакомы радующемуся сердцу, и Сигизмунд думал с благоговейным волнением, что это прекрасное лицо можно было назвать Бессмертием...

Февраль, 1936
Сан Франциско

Золотая лиса

— Отец звал твою мать Золотой Лисой. Она была такой, по истине поразительная по особой красоте женщина и не только в оболыщенных глазах отца... Не знаю, встретить я подобную женщину, нашел бы я силу устоять или нет! У ней была своя теплота, особое пламя в глазах, в улыбке, во всем существе, которое, казалось, говорило, что это только для тебя одного... Пожалуй, у тебя одного, Мишка, остался еще этот след тепла, ты сам даже не знаешь, что по временам излучаешь его! Этим пламенем она и взяла нашего бедного отца. Кроме того еще и тем, как бы это выразиться, брат!?... Кто то заметил, что в нас много карамазовщины! Глупо, конечно, по идиотски глупо! Только потому, что нас столько же, сколько было их, не считая Смердякова, поэтому, что ли? Или в чертах наследственности, в дополнение к грехам отца? Но это еще под большим вопросом, а, с другой стороны, эти черты можно приспособить почти к каждой семье!... Так, к случаю, обрати внимание, Мишка, что только к случаю, не связы-

вай ни с чем, что я хочу дальше рассказать, ни в какой связи, так, само по себе. Помнишь или нет страницы, где старик Карамазов нашел изгиб в Грушенькином теле, ведь, эдакая дьявольщина, с какой неотразимой чувственностью пропитаны строки!

Николай, старший брат, поднялся с кровати, сунул голые ступни в туфли и прошлепал к столу в поисках сигарет. Не нашаря портсигара, он нашел трубку с остатком табака и терпеливо раскурил ее, поглядывая через окно поверх черепичных крыш на мачты и паруса китайских шаланд на канале. Михаил только слегка передвинул руки под головой, чтобы посмотреть на брата. Он знал, что Николай томился от вынужденного бездействия и будет рассказывать долго.

— Замечательное мастерство, так описано, вот, где изумительное проявление гения! В самом воздухе эдакая, брат, чувственность, словно сам развратный старик Карамазов стоит тут же рядом, дышит на тебя раскаленным дыханием страсти и роняет отравленную похотью слюну с плотоядных губ! Я был тогда в Петербурге, на Политехническом, помню, как дорвался тогда до тех страниц, так только и ухватил из них это захлебывающееся ощущение чувственности! Дошел до сумасшествия, до такого дна омерзения, что некуда дальше, только в краткие периоды передышки — обрати на это внимание, Мишка, — чисто по русски!, оправдывая себя что, это Достоевщина, что так, мол, надо, что все это в согласие с чем то положенным свыше... Подло,

конечно! Жаль, что не прочел книгу впервые позже, как, например, тогда когда читал ее второй раз, гния в тыловом госпитале с пулевыми ранами в ногах и груди. Тогда представилось все в другом свете, я увидел то, что не замечал раньше. Читал медленно, водя пальцем по строке, с новым подходом, с тем, что открыла и дала война, пролитая кровь, даже близость смерти, другие условия, а, кроме того, стал старше и понял то, что книга благородна, что она была символ, своего рода код, борьба добра со злом, извечная борьба! Но все же, должен сознаться, страницы относительно изгиба по прежнему захватывали меня с той же дьявольской силой...

Николай вернулся на место, устроился на мягкой кровати, подоткнув засаленную подушку выше под голову, крепкий, сбитый, с темным цветом лица, взъерошенными волосами, в трепанных армейских рейтузах. Он подождал, когда дым от раскуренной трубки поднимется к потолку, словно не мог начать говорить, пока не рассеется его тяжесть.

— О чем это я говорил, Мишка, потерял след... Ты помнишь?

— О сладострастной слюне, — помолчав, ответил Михаил, думая, что Николай сам вернется на потерянный след рассказа.

— Балда, о какой слюне! То, что я хотел сказать: очевидно, отец тоже нашел изгиб в Золотой Лисе, так как совсем потерял свою трезвую, уверенную голову... Моя, наша мать умерли, когда мне было тринадцать лет, отец был вдовцом

четыре года, да, мне уже было полных семнадцать, когда отец женился на твоей матери. Трудно было найти более счастливого человека! Я не хочу сказать, что мы не были счастливы и раньше, нет, конечно, нет, но, как теперь припоминаю, наша мать была долга больна, а после ее смерти дом совсем стал каким то пустым. Отец не забывал нас, у нас было все, мои школьные приятели завидовали мне, что у меня были особые беговые коньки, бельгийский дробовик, всегда несколько рублей в кармане, но дом наш все же был пуст. Отец знал это и жалел нас, особенно сестру, но, очевидно, ничего не мог сделать иного. Однажды в воскресенье, после завтрака, он заявил нам как то особенно значительно и торжественно, что к нам прибудет гость, и что мы должны встретить его так, как подобает благовоспитанным детям и даже больше, как если бы мы встречали самую дорогую для нас персону. Отец был необыкновенно торжественный, мы не помнили, когда видели его таким. Вероятно он и сам заметил, что мы были смущены его словами о "самой дорогой персоне", что это нам как то не понравилось, он остановился, сам смущенный, начал какое то пространное объяснение, прося нас остаться дома после полудня. За окнами стоял яркий декабрьский день, как раз в пору для катанья на коньках. Как старший, я еще помнил, что, примерно, в такое же время, четыре года назад, мама лежала в большой гостиной, прежде чем не поместили ее в катафалк и мы все не отправились на кладбище. День был холодный,

бесснежный, ветер дул в лицо промерзлой пылью и мелким льдом... Не знаю, не помню, думали ли мы тогда, или только я возвращался в своих мыслях к тому дню много времени спустя. Не знаю... Мы смотрели на отца, он нам вдруг показался совершенно другим человеком в тот момент, и думали не без печали, что ничего не поделать и придется сидеть дома вместо игры на дворе или на катке. Я только что завел новую пару коньков и черное шерстяное трико, и только и мечтал, как падая вперед с руками сцепленными за спиной, резать с хрустом лед. Но мы остались дома, а отец отправился привести "самую дорогую персону", оставив нас думать и гадать, кто это могло бы быть... Мишка?

— А!, — откликнулся тот лениво.

— Спишь, поди, а? Тебя совсем не слышно!

— Нет, не сплю, — отозвался он. — Слушаю. Ты хорошо это о хрусте по льду. Ну, ну, рассказывай, я слушаю. Интересно!

— Вскорости мы слышали лошадей у крыльца, счастливые голоса и смех, серебряный и заразительный! Мы сгорали от нетерпения выбежать в переднюю, но что то сдерживало нас, не то, что мы были благовоспитаны, нет, а какой то страх. Об этом я тоже думал часто позже, как о безошибочном предчувствии трагедии — у нас, у детей!... Они вошли, отец необыкновенно церемонный словно был на сцене, или в первой паре торжественного полонеза, ведя свою даму со всей учтивостью старого света. Он вел ее под руку, но тут сразу бро-

силась в глаза неувязка, что тоже пришло ко мне позже, когда я думал об этом — отец шел медленно и торжественно, необычайно торжественно, он вообще был старомодно-учтивый, таких, как он уже нет, сорт перевелся. Но она была вся движение. Она вошла такими мелкими, уносящими шагами, что казалось не шла, а летела, и, конечно, отец не мог угнаться за ней... Это была первая неувязка, позже мы заметили еще больше причин несходства, столько, что даже стало казаться странным, почему их не появлялось еще больше... Да... Отец пытался удержать ее, раскланялся и сказал необычайно торжественным голосом: “дети, позвольте вас представить нашей дорогой гостье!”

Николай остановился. В комнате наступила тишина, только дрожало стекло от проходившего за углом трамвая. Надвигались медленно сумерки. За окнами, где еще не так давно были видны мачты и фермы моста, повис сизоватый дымок надвигающегося зимнего вечера.

— Ну, ну, — пошевелился нетерпеливо Михаил. — Рассказывай, я слушаю. Здорово интересно!

— Дорогой гостье!, — повторил Николай, словно стараясь вспомнить тон, каким эти слова были сказаны. — Так она и была у нас гостей! Ты уже появился на свет, а сна все еще... Ну, хорошо, дальше! Отец не успел закончить церемонного представления, как она освободилась от его руки, подбежала к сестре, наклонилась над ней, припав на колени, целуя ее в щеки, держа и радостно трепля за плечи, все это вре-

мя не говоря, а щебеча, а, главное, тая в каком то особенно музыкально-мелодичном смехе, который, казалось, был присущ только ей. Она была очень интересна, хотя слово интересна и не совсем верно в ее случае. Меня она поразила с самого первого момента, как только вошла. Но не мог бы описать ее, так как первое впечатление было настолько красочно, что даже ослепило меня. Опять позже, но не так на этот раз, может быть месяц, два, я увидел, что ничего необыкновенного не было, я даже думал, что она была безцветна, кроме, действительно, ослепительно красивых золотисто-рыжих волос. Но, с другой стороны, я был не прав, я уже начинал быть к ней несправедлив, бессознательно мстя за отца или даже ревнуя... странно... Но первый момент был поразительно блистательный: яркие, морозом пахнувшие щеки, глаза того редкого цвета, который имеет несколько меняющихся оттенков, то зеленоватого, то чистой синевы... И, конечно, золотая корона пышных волос! Наш дом был темный, мрачный, отец всегда был одет во все черное или темно-серое, мы были в черных ученических формах, Зина была в темном коричневом форменном платье, а старая няня, бывшая нам матерью после смерти мамы, была настоящее олицетворение серости в своих неизменных тонах темно-землистых цветов. Но дорогая персона была вся краски, яркие, живые, а ее смех! Долгое время спустя, как она ушла, нам казалось, что мы еще слышали ее заразительный смех, и отец ходил у себя в кабинете, заглядывая в углы и

выходя в гостиную, словно стены все еще отзывались ее смехом и голосом... Отец хотел, чтобы мы остались дома по двум причинам: приучить нас к ней, а, второе, так как он был влюблен в нее, то хотел придать первой встрече невинную атмосферу семейной святости. Отец был полон этих идей, любил слова “священный”, к которым прибавлял “долг”, “честь”, “преданность” и другие подобные выражения, которые теперь в наше подлое время, звучат дико и даже вызывают вопрос о необходимости своего существования... Да, вот так, значить... И так мы остались в тот день дома, как то смущенные, вернее, пораженные необычайным видом отца, нового отца, думая, не без основательного подозрения, что он собирается в добавок осчастливить нас и новой матерью! Обед вышел на славу, с лучшей посудой, накрахмаленными салфетками, даже с шампанским! Нечего и говорить, что никогда отец не выглядел таким церемонным и торжественным и, конечно, счастливым, это уже вне всяких слов! Он так и сиял радостью, одинаково ухаживая шутивно и церемонно за своим “двумя дамами” — “дорогой персоной” и Зиной, которые сидели по обе его стороны. В конце обеда отец поднялся и произнес спич с шампанским и поцелуями во все стороны. К этому времени мы уже окончательно были покорены ее шармом и теплотой, нам казалось, что лучше ее не могло быть ничего на свете, она рассеяла все наши сомнения и робость. Кроме того, уже не было нужды нашим подозрениям, так как отец, с торжествен-

ным видом геральда, объявил нам о начале новой эры счастья, то есть, что она будет нашей матерью. Тут, в этот момент, что то случилось с нами. Когда сна перецеловала нас по несколько раз в щеки, губы, лоб, мы, по крайней мере я, клянусь Богом, почувствовал со всей свежей впечатлительностью юности, что то тяжелое заскребло у нас по душам и сердцам! Зина чувствовала то же самое, так как заплакала и попыталась побежать или к отцу или к няне. Она заплакала тоже, не няня, конечно, которая проплакала все свои старые слезы позже, когда все стало принимать зловещую форму, а наша "дорогая персона"...

Николая опять замолчал и закрыл глаза. В комнате опять стало тихо в медленно густевших сумерках. Михаил пошевелинулся у себя на кровати нетерпеливо, но не произнес ни слова. Николай открыл глаза и долго смотрел на его рыжие волосы. Затем он сел на кровати и заговорил с необыкновенным волнением и теплотой в голосе.

— Однажды в темный, дремучий лес, в один холодный декабрьский день пришла золотая лиса с пушистым хвостом, с мечтательно прищуренными глазами, сверкавшими то голубыми, то золотыми точками, с теплым, уютным телом и свежим ароматом фиалок... Слышишь, Мишка, как я ловко завернул относительно дремучего леса? Но лес уже не был больше угрюмым, как только лиса выбрала себе логово, покрутилась немного, чтобы устроиться поудобнее, не так для себя, как для многих других, так как к

тсму времени все, кто жил в лесу и кто не был слишком стар, пришел навестить новую соседку. В нем, действительно, стало все живо! И, верно, все изменилось в нашем доме, казалось, что наступил длинный, нескончаемый праздник! Я никогда не видел так много праздного народа в нашем доме, как за те полтора-два года, пока жила в нем Золотая Лиса! Карты, закрытые интимные вечера, поздние ужины после театра, лунные ночи на розвальнях тройкой, новогодние маскарады, все это в дополнение к обычным дням, когда у нас бывал открыт дом для каждого прохожего. Но все же я знаю определенно, что отцу не могло это нравиться, хотя это и было по началу в маленьком масштабе, чисто в шутовском, в детском духе. Помню такой случай! У нас была рождественская партия, с двумя столами, один для взрослых, другой для нас. Мы пригласили своих сверстников, Зина, Иван и я, было вино, помню, шампанское стало обычной вещью в нашем доме! После ужина были игры, танцы, шарады и тому подобное. Наша новая мать, одинаково любя компанию взрослых и нашу, играла с нами в фанты. Случилось, что ей нужно было платить штраф и поцеловать одного из моих товарищей, застенчивого мальчугана с девичьим румянцем на щеках и темной линией зрелости на верхней губе. Золотой Лисе нужно было поцеловать его. Она прищурила глаза, так что они стали мечтательными и необыкновенно притягательными, привлекла к себе мальчугана и стала целовать его прямо в пухлые губы раз за разом, еще и еще,

откидывая голову назад каждый раз, как отрывалась от его губ и каждый раз глядя на него, то в его глаза, то на его губы, словно желая проверить какой эффект это производит на него... Было бы ничего два, три раза, но не двадцать, тридцать, так что, казалось, не будет конца. Кое кто стал смеяться, особенно некоторые из дам, они всегда начинают пересмеиваться, переглядываться, перешептываться в таких случаях. Отец нахмурился, казалось, что потерял нить разговора, но старался не показать своего неудовольствия. Мы все чувствовали неловкость, я же начинал ненавидеть своего приятеля, который, конечно, сам был смущен больше, чем кто либо. Когда же, казалось, пришло к пределу, она рассмеялась своим чудесным смехом и все, как по мановению магии, расстаяло и стало по прежнему весело и непринужденно, хотя бедный мальчуган и был опьянен на весь вечер... Но это все ничего по сравнению с тем, что последовало позже! У Золотой Лисы был тоже изгиб, пожалуй даже два: один в уме, который разыграл шутку над бедным мальчуганом; другой в теле, исключительно грациозном и чувственном. Лиса в полном обладании своей красоты потянется мечтательно телом, поведет маленькой, но крепкой рукой вдоль бока и бедра, приподнимет голову в быстром ответе на слово, и тот, кто сказал это слово, будет думать, что он был единственным интересом ее жизни! В этом было ее колдовство, если только можно позаимствовать это чудесное слово из сказок, украсть его у детей, из их беспорочного мира, и при-

дать его в кошунственной неразборчивости женской ненастытимой чувственности.. Думаю, что не только отец, но и другие чувствовали этот изгиб, подобно тому, который заставил старика Карамазова истекать плотоядной слюной... В ту зиму, на одном из балов в нашем городе, я видел сцену, которая заставила меня призадуматься. Один из наших учителей, основательно поживший человек, женился на молодой девушке. Случай незначительный, кроме того факта, что часто чахлые, потасканные старички женятся на молодых девушках с пышными телами. Надо бы какомунибудь ученому выработать на этот счет теорию, хотя думается мне, что в этом нет ничего, кроме скрытого желания обмануть себя, что еще того... А кроме того, конечно, море чувственности, в котором тонет все. Тебе, Мишка, с твоей жизнью, знать лучше, чем кому либо другому. Но это тоже неважно! Видишь, я опять отклоняюсь от мысли. Вернусь к сцене, которая оставила на мне глубокий след! Да, так об учителе в синем форменном фраке, о франте с серозеленым потасканным лицом! Рядом с ним, чуть чуть в стороне, стояла его молодая жена в непривычном для нее вечернем платье. Нашел ее он гденибудь в бедной семье, у отца пьяницы и чахоточной матери. или в приюте — развратные старички любят шнырять по бедноте и приютам в поисках свеженькой сиротки, которую можно было бы пригреть и осчастливить на всю жизнь. Неподалеку стоял он, подобное обстоятельство всегда требует, чтобы тут же был кобель, ско-

тина, который против всего, закона, порядка, власти, формы, а, особенно, против распутных старичков с молодым бабцом на фальшивых зубах. Дело было обычное; что я тогда заметил, были детали, и они то и хлестнули меня, обожгли острым ударом бича: бессильно сжатые в кулаки руки, лицо, с которого отлила кровь, совсем стало от этого землистым, глаза, затаившие злобу бессильного человека, страх, смертный страх, что собака вор ударит его, собьет с ног, и жадность обжоры, как бы сочный кусочек не попал со вставных челюстей на здоровые зубы! Учитель представлял траги-комическое явление: с впалой, свистящей в бешеном гневе, грудью, в бессильном раздражении трясаясь на сухих журавлиных ногах, трясаясь так, что прыгали высоко подложенные плечи и ерошились в ярости длинные волосы — самый любимый толпой тип, старый обманутый муж из оперетты. Тут же, повернувшись в пол лица в сторону сукиного кота, стояла ляля, теплая и влажная, у которой внезапно проявился особый интерес, как, например, когда две родственные особи — пятнистые гиены или гадюки — сойдутся вместе. Она была чрезвычайно заинтересована в деле, знала, какую роль играла, знала хорошо, к чему оно шло. Она так повернула свое тело, отбросив его назад, чтобы набрать еще больше формы — движение инстинктивное, которое можно было бы сравнить с бутонном, раскрывающимся под солнцем, теплым ветром или дождем! Сравнение было бы верное, если бы ни тот букет вульгарности, присущей только людям, кото-

рого, конечно, нет в природе. Если движение и было естественно, то совсем уже не та улыбка, которую требовало "социальное положение" — жезлы учителя, не тот тон, не те восклицания: "ах, оставьте совершенно!", пока ее муж трясся в слепой ярости бессилия. А у скота был праздник, был его день: он мог с бранью и матом отлупить старого человека без всякого опасения, что другой может сделать чтонибудь больше, чем посвистеть своей провалившейся грудью и сжимать слабые руки, с синими венами, вздувшимися не столько от крови, сколько от бессильной злобы. Положение было в пользу вора и толпа зевак уже собралась вокруг, поощряя его. Это была любимая тема для толпы: наказать жадного развратника самым большим наказанием, тем, что вырвать вкусный кусочек из его мокрых губ...

В комнате стало совсем почти темно, только с уличного фонаря падал внутрь неровный свет. Николай спрыгнул с постели и зашлепал раздуть чуть тлеющий огонь в железной печке. Михаил продолжал лежать, как лежал за все время рассказа, закинув руки под голову и слушая то с закрытыми глазами, то уставясь в потолок.

— Ты что, Мишка, слушаешь или спишь?

— Рассказывай, рассказывай! Ты это здорово о лисе в дремучем лесу, да и про сиротку интересно, а бабка так описал, что вот кажется лежит р дом!

— Болван! Я не для тебя ее описывал.

— Не важно, для кого, каждый польстится...

Но рассказывай, брат Николай, я слушаю.

— Когда я вернулся домой, все еще думая о сцене, меня вдруг поразила мысль, что было какое то близкое сходство... Не в том, конечно, что отец мог напомнить того злосчастного шу-та, нет, наоборот, он был полной противоположностью того, я всегда думал сб отце, как о человеке отваги, как об отважном путешесте-нике, Станлее или Стивенсене, об экспедициях которых я тогда читал. Нет, отец был полной противоположностью тому, он был уверен в се-бе, у него были манеры большого барина, он был главой городского финансового отдела, вли-ятельный, уважаемый человек. Поразительное же сходство было в женских ролях той драмы — маленькой кому другому, но никаким обра-зом не нам! Сходство было в тех незначительных движениях тела, которые я впервые заметил в нашей “новой маме”, а затем уже в ляле учи-теля, и опять — в драгоценной отцовской пер-соне. В тех следах вульгарности, в игре с муж-чинами, в оброненных словах особо подчеркну-того значения, в неожид нном смехе, в руке, положенной на руку другого, в тех ничего не значущих восклицаниях, которые требуют ка-кого то совершенно иного ответа... Пока же жизнь в нашем доме шла ускоренным темпом, все было в движении, одни уезжают, другие приезжают, а как двигалась она сама, Бог мой!, на своих быстрых, как птичьи крылья, ногах, с протянутыми руками, словно была готова под-няться и улететь! В тысячу раз лучше было бы, если на самом деле вспорхнула, пока не стало

поздно! Все двигалось, но странно, некоторые из гостей, казалось, не покидали нашего дома ни на минуту, один или два армейских офицера, молодой присяжный поверенный, кутила купчик, владелец мукомольной мельницы. Они толкались у нас в доме все время, пили, ели. репетировали пьесу в Великий Пост, что казалось няньке грозным и еще неиспытанным бедствием. Даже не нужно было нянькиных пророчеств, чтобы знать, что на наш дом, на самом деле, свалилась чума! Лучше бы, если отец запил тогда, как сейчас пьет Ванька, Бог мой, как пьет брат Иван! Может быть спасло бы нас всех от горя, не говоря ничего о гордости, даже простой человеческой порядочности... Началась игра в карты, сперва по маленькой, пока забавно было наблюдать, как лисичка шурила свои мерцательные глаза сквозь табачный дым и та-яла в смехе с одинаковым азартом, когда выигрывала или теряла... Я только мог догадываться в то время, как все это шло и набирало ход. Нам не позволялось заглядывать в отцовский кабинет, где они играли, но я знал что игра шла на двух, трех столах. Старуха нянька часто останавливала отца в попытке удержать или предостеречь его, в своем простом уме, а больше в сердце. думая, что могла сказать ему как хранитель, добрый хранитель, единственный, оставшийся у нас после смерти матери. Он знал, конечно, знал, что зашло далеко, слишком далеко. но отделялся от нее деликатно, приговаривая "потом, потом"... Что "потом", так мы и не узнали, пока все не стало уже слишком

поздно. К этому времени Золотая Лиса стала уже исчезать, то покататься, то навестить кого то с одним или двумя из своих постоянных спутников, так что мы теперь частенько сидели за обедом молча, замечая не без смущения, и сострадания, что отец прислушивался к каждому звуку наружу, поднимал голову и тревожно поглядывал на дверь. И вдруг тут она войдет, редко одна, без спутников, и дом снова зазвенит во всех углах от ее звонкого заразительного смеха, а, и все по прежнему станет живым и беспечным. Немного пустя она опять устремиться куда то на своих беспокойных ногах... Я тебе, Мишка, говорил, что у ней была особенная манера ходить с распростертыми руками на сменяющих ногах, ей Богу, казалось, что еще маленькое движение руками и ее ноги оторвутся от пола... Отец все больше оставался дома, у себя в кабинете, где дажно исчез дух того серьезного уединения, а вместо него вселился прикатишего клуба. Часто, брат Михаил, я ломал себе голову в печальные периоды своей жизни, стараясь разгадать загадку, почему отец сидел часами в той отвратительной толще застоящегося табачного дыма, с людьми, которые были ему не только чужими, но и противными всему его строю, всей его жизни. Хотел ли он показать, что все было хорошо, даже если ее и не было дома, что он был доволен, даже счастлив, и совсем не беспокоился о ней, что конечно, было совсем не так! Верней, уже ревновал ее и ему было временами стыдно за нее! Могло ли быть, что запоздалая страсть картеж-

ника проснулась в нем и вытеснила Золотую Лису, которая — он уже должен был знать об этом теперь — укладывала свой пушистый хвост в чужом логове? Или он уже махнул рукой на все, на что можно было махнуть, с ее частыми исчезновениями и со своими “потом, потом”! Или та неудержимая быстрота, с какой все катилось и в предел которой он, вероятно, даже боялся заглянуть? Бог его знает, в чем было дело. Не знаю, может быть нужно было как то заполнить внезапно открывшуюся в себе пустоту! Не знаю, как отец играл, выигрывая или проигрывая, как он мог равняться с теми полушуллерами, но вполне прохвостами, которых Лиса в неутолимой жажде видеть себя окруженной любимым сбродом, набрала откуда то. Может быть отец был в проигрыше, в большом уроне, может быть в то время что то уже было впутано, что нельзя было развязать! Повторяю, Мишка, когда мне бывало дьявольски не по себе от тоски и я хотел себе сделать еще большее, я начинал думать о последнем периоде отцовской жизни, пытаюсь выяснить, почему он это сделал, почему этот сильный человек ни разу не поднялся и не смял, не отряхнул всю эту грязь и сброд! Вероятно, каждая догадка была верна, верна, как отдельная единица в целой массе фатального положения, которое, казалось, уже нельзя было выправить... И так это случилось.

Николай рассказывал неспеша, останавливаясь, делая передышку, поглядывая то на печь, то на окно, посапывая пустой трубкой. Време-

нами его гслог был ровный, временами выдавал волнение и тогда голова Михаила приподнималась над спинкой другой кровати, словно желая повернуться и посмотреть на брата. Медленно, словно нехотя, Николай продолжал рассказ.

— У нас заканчивали постройку моста в городе. Был конец мая. Отец страшно гордился новой постройкой, как и всяким другим улучшением города. Он был или одним из авторов проекта, или одним из самых сильных защитников его. Дело подходило к концу мая. Мост должны были открыть официально в воскресенье с большим торжеством и церемонией, с разрезанием ленты, шампанским, с банкетом для отцов города. Это должно было быть в воскресенье. Во вторник отец узнал, что Лиса исчезла или с одним из офицеров или молодым купчиком, что, конечно, не имело значения в неизмеримом горе отца. На другой день он не появился. Мы не подозревали ничего, в то время для нас многое было неизвестно, только после значительного времени, когда я мог сложить одно к другому, стало все ясно. Мы даже не знали, что он исчез, пока не позвонили из Городской Управы справиться, не болен ли он. В пятницу его нашли: рабочие, заканчивавшие постройку, заглянули в овраг, в то место заросшее кустарником, где был один из первых устоев моста под самым началом пролета, в сокрытое уединение которого с короткой веревкой в руках заполз отец, этот статный, церемонный человек, Станлей, Стивенсен моих юношеских дум... Ты родился за четыре месяца до того фатального дня. Мы долж-

ны были бы завидовать тебе, как единственному члену семьи, которому было все наплевать. Не думаю, однако, чтобы в тот период тяжелого горя мы думали о зависти кому либо. Постолю, поскольку ты был замешан, твое появление на свет произошло без оглашения, почти неслышно и незаметно, как то случайно между картами и вечеринками, т. е., мы знали, что ты был, уже родился, баюкомый счастливой и в то же время встревоженной няней и кормилицей, мы знали, что отец был счастлив, мы любили тебя, тогда таинственное еще существо с белорыжеватой головой и мутно-голубыми глазами, которые потом стали похожи на ее... Затем, сразу же после этого, началось появляться другое из всех углов, то, что в начале было только в шепоте, в намеках и смешках, что рыжая Лиса была неверна отцу чуть ли не с первых дней; что шуточная карточная игра, начавшаяся с год назад, обошлась отцу страшной ценой, честью, незапятнанным именем, всей его жизнью... Растрата отвратительное слово, Михаил, мерзкое и страшное, особенно, если связано с тем, кого ты любишь со всей пылкой привязанностью юноши. Горечь помню и скорбь я... Старая няня, мудрая, как сова, повторяла нам в святой наивности веры, что доброечно, а зло преходяще. Скорбеть вы должны, поучала она нас, но не возвращайте плевел горечи, и она призывала нашу маму в свидетели и образцы всепрощения. Она боролась против чувства стыда, того ужасного чувства в детях по отношению к своим отцам, урезонивая своей старой

мудростью, а, главным образом, полагаясь, объясняя тем, что это была воля Бога, необъяснимая воля милосердного Бога в таком необъяснимо страшном деле... Но мне было стыдно, особенно перед своим приятелем, который проштрафился в фантах Золотой Лисе на первой рождественской партии...

Николай встал, подошел к окну, пристально вглядываясь, что делалось там. Опустил штору, зажег огонь, сделал несколько шагов, припадая на одну ногу. Михаил повернул голову, следя за его движениями, рассматривая его широкую спину, крепкий затылок, встрепанные седеющие волосы.

— А ты, Мишка, по меньшей мере, странный человек, если не сказать просто дурак и скотина!

Николай раздул печь, щурясь от дыма и не то сердито, не то выжидающе поглядывая на брата.

— Это ты что, — ухмыльнулся Михаил, — опять насчет моей философии?

— Какая там философия, — отмахнулся рукой Николай. — Почему ты ничего не сказал о своей матери, в защиту ее? Почему?

Михаил задумался, переведя взор с брата на потолок, обдумывая обстоятельный ответ, но Николай не дал ему ответить, как будто боясь того, что тот может сказать.

— А о твоём учении и говорить нечего, там ты совсем осел со своими метафизическими экскурсиями. Что ты знаешь об этом?

— Можно не знать, а стремиться...

— Почему ты, например, говоришь “философия”?

Михаил пошевелинулся, помолчал, опять посмотрел в потолок, пожевал губами, словно пробуя, как послышится его ответ.

— Звучит мягче, — наконец ответил он и сам засмеялся.

— Ну, вот, видишь, дурак и есть!

— А ты не сердись, брат Коля, — улыбнулся тот широко и добродушно, делая движение встать, но оставаясь по прежнему лежать. — Расскажи дальше, как она отнеслась ко всему этому? Ты, Коля, и рассказываешь по особенному. Как, например, вот это: “В один прекрасный день в дремучий лес забрела необыкновенно красивая золотая лиса...” У тебя, Коля, это звучит лучше, как то проще и красочнее!... Она сидела у своего логовища, так что каждый в том лесу мог видеть, какой пушистый у нее был хвост, как мечтательно сверкали прищуренные глаза, как она поводила своим красивым телом! Правда, лучше рассказать нельзя!

Михаил быстро повернулся, приподнялся на кровати, опершись о локоть. Он изменил тон, сразу стал серьезным и заговорил поспешно, с большой теплотой в голосе.

— А почему я ничего не сказал в отношении матери? Что же я мог бы тебе сказать? У кого больше к ней тепла — у тебя, который ее знал хорошо и который даже... Постой, постой, не перебивай! Или у меня, который никогда не видел ее, и который, как ты говоришь, появился как то случайно, между сдачей карт и игрой в

фанты? Почему я ничего не сказал? Против тебя? Что же я мог бы сказать? Ты, брат Николай, любил ее по своему, конечно, так же, как, нет, конечно, не так, как отец, хотя, ведь, вся сила была не в тебе, а в ней! Ты, вот, по особенному и называешь ее, Золотая Лиса, и говоришь хорошо о ней, отменно хорошо, тепло, совсем не так, как, например, о жене учителя, так, как оно на самом деле...

— Это что же твоя..., — он замялся, хотел сказать, передразнивая его, “филясофия”, но удержался, невольно заражаясь теплотой и серьезностью брата.

— Нет, тут уж больше твоя. Если я в Золотую Лису, то ты в отца!

— А вот ты о чем, — нахмурился Николай, приподнимаясь и совсем поворачиваясь к брату. — Что же ты имеешь в виду?

— Ты так хорошо говорил о ней, не сердясь соедем, не так, как например, о жене учителя...

— Подожди, подожди, оставим жену учителя в стороне. Вопрос не о ней. Ты скажи, что у тебя на уме?

— Теперь ты, может быть, коснешься и метафизики сам, чтобы сделать вывод!

— А ну тебя в болото, с твоей метафизикой! Ты, или это мне только показалось, сделал какой то прозрачный намек. Куда это ты брел?

— Никуда. Ей Богу, никуда! Так, просто. Помнишь, в начале ты говорил, чтобы я не делал никакого вывода, когда ты упомянул об изгибе. Помнишь?

— Ну, так что же?

— Да ты не допрашивай. Я не то, чтобы о самом изгибе, сколько о силе ее. Например, ты рассказывал о своем приятеле и о том, как мать проиграла ему в фанты... Могло бы быть, например, чтобы... чтобы... Ты, вот, как то сказал, что встретить подобную женщину, то поди бы не устоял! А, предположим, мог бы там устоять...

— А, ты действительно, мерзавец, — медленно, тихим голосом произнес Николай. — В тебе, как у мерзавца, много своего, что как то можно было еще принять. Но в этом ты превзошел даже самого себя!

— Да ты, на самом деле, сердисься, брат Николай! Ведь это только, как говорится, философические рассуждения о добре и зле и прочих общих вещах!

— Будь осторожен, чтобы не коснуться частных вещей! А, впрочем, это интересно! Ты мог бы допустить, что чтонибудь подобное могло бы случиться тогда!

— Да я не в упрек тебе! Повторяю опять, ведь сила была не в тебе, а в ней...

— А как бы ты поступил, если сила была бы у ней и ты или не хотел или не мог бы противостоять ей?

— Ну, это другое дело, как я бы мог, как я бы поступил? Как ты сказал, две родственные особи... Но, нет, конечно, нет! А, впрочем, что нам спорить из за одним предпосылок, стоит ли ссориться из за них, брат Коля? Кровь крови рознь, ты бы не сделал — но тут я опять ввожу, у кого сила! Я? Не знаю. Вопрос в том, как

бы сам сказал — устоять или нет... А сказано хорошо: “В один прекрасный день в темный, угрюмый лес пришла Золотая Лиса с мягким пушистым хвостом, с искристыми глазами и запахом фиалок...” Вот это хорошо.

Михаил повегнулся всем корпусом к брату, свесив ноги с кровати, улыбнулся, и сказал медленно и раздельно:

— Вот это хорошо! А брат ты мне или отец, какая разница, какая мне, брат Коля, разница!

Июль, 1944
Сая Франциско

Ночное видение Сеула

Оно пришло, как ночное видение, напряженное и страшное, составленное из воображаемых и действительных предметов, трудно различимых, которые из них были более зловещими.

Началось это днем, но в общем смешении вещей, идей и чувств, день, ясный в своем мирном спокойствии, казалось был неотделим от ночи, словно они были короткой продолжительности, следуя друг за другом с частой переменой мозга, который, как заметил он со смешанным чувством удивления и безразличия, был острее и впечатлительней чем когда либо в другое время, словно теперь был вне его самого, так что можно было рассмотреть его внимательно со стороны; словно острота его впечатлительности достигла такого предела, после которого уже не осталось никаких препятствий для его лихорадочного прозрения.

Это пришло с ночным видением черного автомобиля, который внезапно ослепил его своими фонарями, прежде чем с приглушенным мотором рвануться по кривой улице. В его мозгу остро

запечатлелось приземистость длинного корпуса, прижавшегося близко к камням мостовой, изворачиваясь на углах узкой улицы, заливая их световым заревом подозрительности и угрозы.

Он шел вниз по улице, направляясь к центру Сеула из пригорода, где несколько последних домов тесно прижималось к гранитным массам Юрансана. Наверху улицы он остановился; крутая тропа вела вверх к отрогам горы, теряясь в низких кустах и в группе сосен. Пролет ступеней вел вниз к темной улице. В нерешительности он остановился на минуту, словно окончательный выбор направления играл какое-нибудь значение, глядя на редкие огни города, притихшего у подножья горы в кофейной темноте черепичных крыш. Луна только что начала свой подъем, бросая слабый свет на другую сторону отрога и на гранитную кладку шестисотлетней стены.

С порывистым нетерпением он зашагал дальше, прыгая с высокой ступени на ступень; внизу, в переулке, он остановился на мгновение и затем решил взять самый короткий путь к городу.

Вот здесь, после нескольких поспешных шагов, он вдруг остановился, почти наскочив в темноте на черный корпус автомобиля, который внезапно включил фонари, ослепив его яркими снопами света. Затаив дыхание, он прижался тесно к стене, ослепленный и наполненный встревоженным чувством ожидания и страха.

Автомобиль только успел проехать мимо него, как несколько полисменов вскочили с профес-

сиональной ловкостью на мотоциклеты и последовали за ним. Они исчезли за ближайшим поворотом, но он все еще стоял, прижавшись к каменной стене, с ухом повернутым в сторону затихающего рева мотора в хрупкой напряженности встревоженной ночи.

Он стоял там долгое время, думая о ночных налетах и щемящем страхе женщин; плакавших бесзвучно за стенами в темных комнатах; о мужчинах, суровых и решительных, и вместе с тем положившихся на судьбу в парализованном чувстве безвыходности. Он думал о них, и ему казалось, что он стоял там всю жизнь, в этой темной улице, жертва и предмет нескончаемого ночного налета.

Это было одно из нескольких видений в тот неопределенный кусок времени, но не то, что навело его на шаткий и призрачный путь к тому, что создало напряженное чувство страшной тяжести и предрешенности, что, как он мог думать, граничило с манией одержимости. Казалось, что видение залило светом то, что он хотел скрыть, на что он сам боялся заглянуть...

Таково было ночное видение Сеула: узкая улица, черный автомобиль, внезапно ослепивший его; группа полисменов на мотоциклетах, припадавших в сторону на углах улицы; молчание ночи, казавшейся покойной, напряженной и зловещей в то же самое время.

Тишина опять замерла над крышами домов; луна поднялась над вершиной горы, но ее свет еще не падал в кривую расщелину улицы. Он шел вниз, спеша, в то же время стараясь сту-

пать осторожно, как человек, ослепленные глаза которого еще не привыкли к темноте.

В конце улицы он подошел к высоким воротам, прислушиваясь к случайному звуку из города внизу, к учащенному биению своего сердца.

Внутри, на большом дворе, голубые пятна лунного света четко выделяли густую тень грациозно изогнутой линии крыши. Двор казался таким мирным, таким свободным от напряженности и тревоги, что он смотрел, не отрываясь, на темное пятно тени, чувствуя себя успокоенным, словно его самого покрывала ее плотная масса.

Редкие прохожие, которых он встретил на улицах Сеула, проходили торопливо мимо него, придерживаясь темной стороны. Кто то гневно окликнул его, когда он пересекал улицу, но он продолжал идти, не поворачивая головы. Только пройдя с квартал, он сообразил, что это мог быть полисмен из угловой будки. Он вспомнил, что после одиннадцати ночи было запрещено появляться на улице.

Город казался безлюдным, и в сомнамбулистическом свете луны улицы казались неживыми и фантастическими. В ту ночь все казалось ему неживым и призрачным: низкие серо-темные дома на теневой стороне улицы, казавшиеся еще глубже ушедшими в землю; скупой свет, пробивавшийся сквозь щели ставень; испуганный плач ребенка; женский голос вглуби дома, kloчочащий и сдавленный, надрывающийся в тишине ночи. Он остановился, прислушиваясь, чтобы распознать, знаком ли ему был голос.

Пройдя два квартала, он остановился опять в тени дерева гинко, всматриваясь в единственный свет, сиящий в угловой полицейской будке. Дверь была широко открыта; корейский полисмен сидел за столом, глубоко сосредоточенный в писании рапорта; другой полисмен висел на телефоне, нетерпеливо крича в трубку "ябосео, ябосео". Два человека с крепко связанными позади руками сидели в углу на полу, их напряженные взгляды прикованные к безлюдной улице. Он стоял там долгое время, притянутый к живой группе, следя за каждым их движением в будке, загипнотизированный застывшими взорами арестованных человек...

Далеко, в отдалении, поднималась огромная масса Великих Восточных Ворот, тяжелая и в то же время легкая, словно плывущая в прозрачности лунного света. Он смотрел на нее с ожиданием и внезапным чувством облегчения. Он припоминал, что был здесь в сумерки, подумав, что что то ожидало его там, что он найдет то, что ищет, если только поспешит попасть туда во время, в какое, он не знал, кроме того, что оно было неопределенно, но и необыкновенно важно.

Затем, в короткий момент, необыкновенный поток событий всего дня пришел к нему с яркой впечатлительностью. С чувством неотвратимого предчувствия он знал, что что то возвращалось к нему с бесжалостной жестокостью, со всей неожиданностью слепой ярости. Он остановился и провел нерешительной рукой по своему телу, чувствуя опять, как уже несколько раз за

Тот день, холодное ощущение пустоты тела, словно его грудь и бока, живот и ноги были изрешетены неисчислимыми дырами, и голубой воздух осенней ночи пронизывал его насквозь.

Впервые это пришло утром, с неожиданным появлением боли, вернее намек на него, усиленной внезапным ощущением одиночества. Тупая боль началась внезапно внизу и позади колен и вскоре все его тело было охвачено лихорадочной дрожью.

Он пытался заинтересовать себя чем либо: группой детей, нищим, чудесным днем. Ранее начало осени чувствовалась в стуже утреннего воздуха. После ночного мороза земля было тверда и хрупка, но над черепичными крышами и желтыми листьями гинко поднималось в золотом сиянии прекрасное утро, какие бывают только осенью. Он стоял на улице, улыбаясь тому, что было годы и годы назад, далеко в другом городе...

...День приближался к закату. Горели краски, переливаясь от светло-кремового оттенка до шафранового; мост сверкал теплым блеском и вода под ним была бледно-палевая в освещенных местах, и цвета охры в теневых. Он шел с грудью, выпяченной вперед, с высоко вскинутой головой, так как была весна, звонкая и ароматная, отдающаяся, как эхом, радостью его счастья... Это было на мосту, в южном азиатском городе, жарком и шумном, в городе болезней, грязи и преступлений, на мосту через канал, в чудесный весенний день, приближающийся к за-

кату, в золотом сверкании воздуха, который, ст наплыва счастья, он называл “радостным дыханием златоустого Феба”, когда что то внезапно окликнуло или остановило его. Он взглянул на статного индуса полисмена, но тот был неподвижен, поднимаясь над толпой, как бронзовый памятник.

Это было в разгаре долго ожидаемой любви, в сладостном чувстве счастья, в звонкий и влажный день весны; в тишине дня, приближающегося к закату; в чистоте красок неба, окрашенного в неисчислимы оттенки желтых тонов, когда странный голос прозвучал позади его уха, ясно только для него, голос такой пронзительности и остроты, что он оглянулся с удивлением и страхом на людей на мосту, на полисмена, на девушку, с которой шел. Он внезапно остановился, словно чья то крепкая, невидимая рука рванула его с ног, чувствуя тупую боль под коленями, которая быстро росла, пока не овладела всем телом и не заставила его дрожать и биться в конвульсиях, пока его зубы не начали стучать и глаза не налились внезапно хлынувшей кровью...

...Все это быстро промелькнуло в его мозгу, пока он стоял в переулке в студенное утро, под золотым небом Сеула, напуганный чувством ожидания, тем безошибочным чувством внезапного и страшного возвращения чего то. Он оглянулся вокруг в надежде найти около себя людей. Группа корейских детей, молчаливых и сосредоточенных, стояла в кругу, не сводя заворожен-

ных глаз с босого нищего с большой взлохмаченной головой и малиново-багровым идиотским лицом, который лежал на боку на холодной земле, безутешно рыдая и рассеянно водя скрученным пальцем по затвердевшей пыли.

Он не знал, как долго стоял там, несколько моментов или значительное время, пригвожденный крепко растущей болью, надеясь против надежды, что это было вызвано недавним течением его мыслей о далеком прошлом, которые принесли связь с болью. Со всей силой и напряжением воли он старался подчинить дрожание своего тела, успокоить его, чувствуя, наполовину потерянный и потрясенный, что страх распространялся по всему его телу, скручивая, парализуя его, и все, что он мог сделать, это убежать, исчезнуть где угодно, только чтобы спрятаться от осеннего утра, которое был мирно и необыкновенно приятно, и от боли под коленями, которая была отвратительна, так как в ней был страх и угроза и что то еще более жуткое и зловещее.

Это было утром того тревожного дня, когда он зашел в узкую улицу, прежде чем выйти на главную, ведущую к Великим Южным Воротам, под желтые листья тутовых деревьев и гинко. Не доходя до Ворот, он остановился в нерешительности у спуска, ведущий в туннель под улицей, с навязчивой мыслью, что сделать — спрятаться там или потеряться в шумной толчее толпы у открытого базара на той стороне улицы. Широкая улица и базарная площадь были полны шума, людей, лошадей, быков, корейских пони,

кули, рикш, автомобилей, грузовиков, бездомных собак. Его толкали, чуть не сбивали с ног. Наклоняясь на повороте и балансируя на плече большое витринное стекло, проехал мимо него кореец на велосипеде, задев его краем стекла по лицу. Он хотел остановиться, но кули с ручной повозкой толкал его вперед.

Некоторое время спустя он нашел себя на четвертом этаже конторского здания на улице, ведущей к Восточным Воротам. Здание было узкое, дурной пропорции, в искаженном стиле западной архитектуры. Стены были выложены бледно-голубыми, бледно-зелеными плитами, пол был грязный и обшорканный окованной гвоздями обувью. Лифт, испорченная игрушечная вещь, висел с перекошенной дверью на полтора фута над полом.

Он помнил эти детали с отчетливой ясностью. Ему было все равно, где и с кем он был. Он знал, что нужно было занять свой ум, чтобы не пасть жертвой своего страха; он чувствовал себя безопасным с кем либо. И все же он не мог объяснить себе, как он очутился с другим человеком во внутреннем кабинете, где он нашел нового человека в корейском халате с широкой лентой высоко на груди, сидевшего за круглым столом с плюшевой скатертью. У корейца было круглое улыбающееся лицо, узкие глаза, доведенные до щелей и смотревшие откровенно, хитро и подозрительно в одно и то же время. Он держал свои руки на столе с широко расставленными локтями, поигрывая жирными пальцами.

Кореец, с которым он пришел, сидел в кресле

со шляпой, сдвинутой на затылок; он вытащил сигарету из пачки, прихлопывая концом ее по столу и долго возясь с изящной зажигалкой. Время от времени он прыскал от смеха с особой манерой восточной вежливости и угодливости, то наклоняя свою голову, то бросая ее выше с новым порывом смеха, все это время сползая на кресле, пока не стал сидеть на лопатках и шейным позвонках.

Человек в корейском халате на смех отвечал смехом, но делал это с чувством достоинства и даже превосходства, пока другой кореец давился от смеха, говоря на высокопарном английском языке, на каком говорят только на Востоке, чувствуя себя поощренным, так как был вместе с американцем:

— Он, вне слов, занятой очень человек... Принадлежность ко многим предприятиям, чтобы держать свои пальцы на множестве дел...

Он продолжал смеяться, сползая все больше и больше на кресле. Другой наклонял голову и широко улыбался, слушая с видом человека не в силах выправить свои слабости. Только раз за все время, что они были в его кабинете, с его лица сошла улыбка, когда его служащий, человек из первой комнаты, принес ему пачку запечатанных денег. Он съузил свои глаза так, что они почти совсем закрылись, проведя нежно и осторожно жирными пальцами по пакету прежде чем всунуть его в карман халата. Он снова улыбнулся, пока другой, в это время сидевший уже на одной шее, продолжал:

— Он держит один палец на делах, другой на

газете, третий на политической партии, четвертый на правительственных контрактах, а пятый...— здесь он совсем захлебнулся от смеха, — а пятый на ночных похождениях... Он настоящий совратитель!

Прыскающий смех звучал знакомым в его ушах, но не имел никакой связи с чем бы то ни было; кроме того, он опять нашел себя на улице, уже одним, пробираясь сквозь плотную толпу. Он потрогал свое лицо, щеку, чувствуя под пальцем застывший сгусток крови, остановился и обернулся, словно только повернув назад голову, мог вспомнить, где порезал свою щеку, для того, чтобы установить цепь последовательных событий...

Было утро, и был день, приближающийся к закату, в различных временах и местах, оба радостные и обещающие. День, приближающийся к закату, был на Гарден Бридж Ресслый индус полисмен, неподвижный и величественный, туман с реки и канала внизу, переплеты моста, казавшиеся золотой паутиной...

Девушка была англичанка, с нежной массой светлых волос, с лицом дорогим и желанным, что невольно думалось о любви с взволнованным чувством ожидания и вместе с тем с сомнением возможности счастья. День приближался к закату, и краски были неизобразимо живые. Они шли по мосту, и он говорил, как был счастлив, как много все это значило для него; он хотел указать на желтые и розовые пятна солнца на мосту и на воде, как вдруг у него потемнело в глазах, словно кто то нанес ему страшный удар.

Неожиданность напугала его, и он стал осторожным, чтобы не показать этого, не выдать себя внезапно прижмуренными глазами, которые могли быть полны неудержимых слез от внезапной боли. Он вдруг затрясся, стараясь со всем остатком силы удержать себя, чтобы не упасть на тротуар, с единственной мыслью скрыться где нибудь, где можно было бы трястись и биться в судороге, кричать и скрипеть зубами, закатывать глаза, обожженные горячим потоком крови, скрыться где угодно, если даже это были темные и холодные пятна на канале, или теплые, горящие ало-малиновыми тонами, где можно было бы согреться.

Перед его глазами проплыло темное лицо красивого полисмена, но все, что он видел, было красного цвета, словно кровь, хлынувшая со всей силой к его глазам, расплескалась по всему тому, что он видел: по лицу полисмена и по его темной форме, по пешеходам и рикшам, и что было невыразимо ужасно и отвратительно — по нежному и очаровательному лицу девушки, по массе ее мягких вьющихся волос, еще секунду до этого чистыми и нетронутыми, теперь обрамляющими страшным кровавым цветом ее испуганное лицо.

Он повернулся спиной, чтобы скрыть свое лицо от нее, чтобы в последней и уже ненужной попытке проверить, не казалось ли ему и все остальное в зловещем цвете. Затем все стало темным и он забыл все; последнее летучее впечатление осталось от нежного лица, сейчас изменившегося до неузнаваемости сквозь кровавую

завесу его глаз; только лицо полисмена казалось еще единственно живым предметом над мертвенностью его собствен ого лица, в окровавленном взоре его глаз, в яростном звоне в ушах необъяснимого отчаяния и страха...

Впервые это случилось несколько лет тому назад на юге, в страшном азиатском городе, где он пришел в себя в незнакомом месте, которое казалось госпиталем или приемной первой помощи при полицейской станции. Смятенный и напуганный, он спешил как можно скорее убраться подальше, унося с собой новое ощущение чего то зловещего и грозного, что должно было случиться и чего он не мог избежать.

Поздний вечер становился холодным и влажным; город постепенно замирал, и все, что он видел в ту ночь, давило его и наполняло отвратительным чувством страха и чем то еще более омерзительным.

Он продолжал идти, ослабленный и усталый, и с каждым шагом в нем тяжелее и мрачнее росло отвращение, нависая над ним неотвратимым предчувствием чего то непоправимого, что должно случиться и что он был бессилен отворотить, жертва маниакальной одержимости и пораженности ума.

Несколько раз он приближался к мосту, где был на закате, но пересек канал в другом месте, идя туда темными улицами и переулками, избегая людей и в то же время стараясь быть ближе к ним.

Группа матросов, американцев и англичан, в

живой драке громила мебель в угловом баре. Рикша, обогнавший его, через несколько шагов упал, кашляя отчаянно и выплевывая кровь. Долго еще в напряженности ночи он слышал позади себя громкие проклятия и звон высаженного витринного окна. Группа нищих пристала к нему, затем одинокий рикша, и он долгое время не мог отделаться от них.

Значительно позже, после того, как были закрыты бары и дансинг холлы, он нашел себя в той части города, которая называлась Траншеями. Группа французских матросов толпилась в подъезде одного дома с притушенными фонарями, где один из них взволнованно и страстно разговаривал с хозяйкой учреждения. Мадам слушала его, ее трогало его пылкость и она даже становилась грустна, но холодный воздух ночи отрезвлял ее и она говорила матросу, что страсть страстью, но есть еще кое что кроме нее. Она переводила дух и говорила ему окончательное и неумолимое “нет”, и тогда матрос опускал сокрушенно голову, тряс ею и начинал снова рыться по карманам и считать на ладони деньги, чтобы выяснить во сколько же ему обойдется неожиданная страсть к мадам второго-разрядного заведения в Траншеях.

Позже, квартала два с лишним за Траншеями, две фигуры пристали к нему, когда он свернул с главной улицы в боковую, ведущую к порту. Они бежали за ним, маленький испуганный мальчик и старый китаец, который волочил его за руку, оба взывая к нему “маста, доллар”. Он ускорил шаг, чтобы отделаться от них, но ка-

далось, что надрывающийся крик рос, сливаясь с влажным воздухом весенней ночи, с серыми стенами домов, за которыми еще час назад в темных комнатах, пропавших застоявшимся табак, вином, потом и дешевыми духами, смертельно уставшие танцовщицы влачили свои усталые ноги по полу. Трамвай прогремел в отдалении, и крики казались затерялись в его грохоте, чтобы появиться опять, почти над самым его ухом. Затем он услышал другой голос, почти шопот, такой напряженности и остроты, что он зазвучал, как пронзительный крик. Он знал, что это было именно то, чего он хотел избежать, что у него самого уже не осталось ни силы, ни воли, ничего другого, что могло бы еще удержать его на поверхности. С тяжелым отчаянием и совершенно против своей воли, он повернул и пошел, ускоряя шаги, в другую сторону города за мостом. Внутренним чувством он знал, что стал внезапно по животному хитрым. По числу пешеходов, по движению шаланд на канале и по звездам он пытался решить, как долго еще продлится ночь...

Вот здесь, в Сеуле, в ясное осеннее утро, он опять чувствовал тревожный намек возвращающегося приступа; он чувствовал его предательское движение, начавшееся сперва болью под коленями и затем ощущением тяжелой усталости. Узкая улица, группа зачарованных детей, плачущий нищий, улицы опять, широкие и узкие... Шумная толча на базаре у Великих Южных Ворот... Человек на велосипеде с боль-

щим зеркальным стеклом на плече, которое порезало его щеку... Два корейца в сомнительном кабинете, который казался гнездом политических манипуляций или спекулятивных операций.. Опять улицы, но день уже кончился и сумерки спускались с окружающих гор и нависали над городом...— вот последовательная цепь событий, которые он пытался уложить в правильный порядок.

Приближаясь к темной массе Великих Восточных Ворот, он чувствовал неожиданное успокоение; ему начало казаться, что ничего не случилось, а если и случилось, то он может отряхнуть от него в уединенном месте, где никто не увидит его, где он может пересидеть, пока не пройдет приступ. Он обрадовался этому, как неожиданному счастью, в то же самое время не веря, что оно может придти.

Город уже был поглощен сумерками и улицы терялись в нарастающей темноте, когда он подошел к Воротам. Он остановился, чтобы перевести дух, глядя на ее темную массу с надеждой и ожиданием.

Все еще с обрадовавшимся сердцем, он быстро перешел улицу и стал подниматься по ее крутым ступеням. Внизу в темноте лежал город с редкими огнями на улицах. Несколько человек, нищих и бездомных, толкались у входа в помещение под крышей Ворот. От ступеней и дороги по верху стены поднималось зловоние человеческих отбросов. Борясь с собой, почти не в состоянии идти дальше, он задержался в нерешительности, но потом заставил

себя идти дальше, но уже без всякой надежды, потерянный и смятенный, как человек, который знает, что еще одной ступенью выше решиться, встретит ли он свой последний шанс или нет.

Он поднялся до верху лестницы и заставил себя открыть дверь; несколько пар глаз испуганно смотрело на него изнутри; спертый застоявшийся воздух и вонь грязных цыновок ударили по нему таким острым ощущением несчастья и отчаяния, такой полной и всепоглощающей жалостью к себе, после которых казалось ничего уже не осталось... Он поспешно отступил назад, сбегая вниз, окунаясь в свежий воздух осеннего вечера, в безопасность улицы. Он споткнулся от голода и слабости; перегнувшись вперед, с глазами, полными слез, он пытался вырвать, но ничего, кроме тяжелой и липкой слюны не выходило из его пересохшего рта. Он только чувствовал жалость, напряженную и выходящую из всякого предела жалость к себе...

...Все это было довольно смутно в его мозгу, до того момента, пока он не наткнулся неожиданно на черный ввтомобиль и группу полисменов, которые сопровождали его. Это и было то ночное видение, страшное и предвещающее, прорезавшее неожиданным потоком ярких фонарей сквозь ночную темноту и через то, что хотело в нем оставаться темным и скрытым, что не хотело, чтобы никто не заглянул внутрь, что мучило его страхом и угрозой.

Он был полон жалости к себе, что стало но-

вым чувством, новым способом мучения, от которого он не мог отделаться. Он продолжал шагать по тихим и безлюдным улицам, сухие листья шуршали у него под ногами. Он продолжал идти, слыша, что что то кричал в нем, чувствуя боль и страх одиночества и особый страх, который приближал его к границам мании одержимости. Он продолжал идти, и редкие прохожие, скупой свет в щелях домов, голые деревья в голубом сомнамбулистическом свете казались призрачными, словно порожденными в его лихорадочно возбужденном мозгу.

Он шел, пока не очутился вновь вблизи Великих Восточных Ворот, огромной массой глубоко утонувшей в густой тени. Он огляделся и увидел, что был в другой части города, где был раньше, в сумерки и в раннем вечере.

Он остановился в тени, всматриваясь через улицу в группу людей, одетых в церемониальные белые одеяния. Внутри дома горело несколько свечей и приглушенные голоса робко бились против сонной завороченности улицы. Неуклюжий катафалк стоял наготове в переулке, сверкая вызолоченным орнаментом, впитав в свой сложный барельеф все сияние полной луны. Он стоял завороченный присутствием людей, словно чувствуя успокаивающее тепло их тел, пока в лунном тумане, неподалеку, вздымалась темная масса Восточных Ворот...

...Так прошла ночь, одна из самых долгих в его жизни; прошла в смятении, разрываясь между страхом и чувством жалости, между вещами

В отдаленном прошлом и в настоящем, и в этом смятении единственно реальным казалось предчувствие, что что то вернется к нему с новой неумолимой силой и страшной жестокостью. Он знал, что оно придет скоро, как только появится знак. И знак появился позже; он показался, как только утро поднялось над золотой пылью города.

Он все еще находился около Ворот, блуждая вокруг них с тяжелым чувством отвращения, в то же время не желая расстаться с ними. Внезапно из за поворота появилось то, что можно было принять за знак. Он остановился и поднес руку к глазам. То, что появилось, прошло, как последнее видение, которое он видел на улицах Сеула, когда со страхом и отчаянием он пытался удержать и сохранить себя, зная, что он был уже в самом разгаре агонии. Он знал, что то, чего он бежал, вернется, знал, что оно придет в каком то определенном виде, форме или образе.

То, что появилось, пришло неожиданно из за угла Ворот, отдельно от толпы, от давки быков, мулов, пони, рикши, само по себе в шуме и грохоте дня. Не успело оно появиться, как он начал всматриваться в него с самым острым интересом, стараясь рассмотреть его поближе в самое короткое время, запоминая мельчайшие подробности, как то, что он перешел с теневой стороны на солнечную, идя вперед с намерением подольше рассмотреть его и в то же время надеясь, от внезапно поднявшегося чувства отвращения, что достаточно будет молниеносного

взгляда, чтобы рассмотреть его во всей полноте.

Оно прошло или, вернее, проплыло мимо него страшным видением в форме зеленолицей женщины на велосипеде. Она сидела боком на приделанном сидении позади седла, и человек, держа за ручки велосипед, вел его быстро и осторожно вдоль тротуара, балансируя на неровной и выбитой мостовой.

Она сидела боком, с лицом, повернутым в сторону улицы, крепко вцепившись в сидение напряженными пальцами, из которых кровь отлила до последней капли. Ее бесжизненное лицо было зеленого цвета, без всякого выражения пустых, широко раскрытых глаз, которые впитывали все, что было на улице.

Она проплыла, как самое странное видение, которое могло быть зарождено только в расстроенном мозгу под грозным давлением прошлого страха и угрызением совести. Со стороны она могла казаться манекеном, по необъяснимой причине выкрашенной в зеленый цвет; она могла казаться пятном плесени на цементной стене, но ему она казалась несуществующей и невероятной, и всё же живой и даже предвиденной. Он боялся, что его ожидание обманет его, что оно может оказаться неживым; он хотел, чтобы оно прошло медленно мимо него, чтобы можно было лучше рассмотреть все детали со всей остротой наблюдательности, как малы и незначительны бы ни были эти детали. Он вновь стал терпеливым и по животному хитрым, словно что то в нем радовалось и хотело

продлить эти подробности: мертвенный цвет лица, бескровные пальцы, вцепившиеся в железную решетку сидения, неподвижная фигура в нарядном корейском платье нежного цвета чогори и темно-синей юбки шима. Он впился в нее взглядом с самым острым вниманием, зная, что оно не продлится долго, так как в следующий момент он нашел себя далеко, далеко, там, от чего хотел избавиться так отчаянно, вновь в другом городе, далеко по ту сторону моста, в ранний утренний час, в комнате, которая была мертвенно зеленой, в беспорядке, у кровати, неподалеку от очаровательной головы девушки, задушенной наполовину его пальцами, наполовину сдавленными криками, около лица, которое было так прелестно и живо еще только короткое время тому назад и теперь казалось холодным и зеленым в тот утренний час, когда все вокруг зелено, когда только молочники и уборщики были на пустых улицах; когда утро обещало быть ясным и ярким; когда оно обещало быть радостным и счастливым звонок свежестью весны; когда золотистое небо над городом обещало быть чудесным, как самое сладкое дыхание златоустого Феба...

Октябрь, 1947
Сеул, Корея

Повязка

— Как прошли незамеченными эти годы, — не переставал спрашивать себя Хлебников, учитель гимназии, — как все это могло случиться, что живя в одном и том же городе, на расстоянии не больше получаса ходьбы, они не только не обмолвились словом, но даже ни разу не встретились?

Он пришел домой раньше обыкновенного и сейчас сидел у себя в своей маленькой квартире. Все было, как обычно, когда он возвращался после школьных занятий и сидел у окна, ожидая, пока его прислуга не скажет, что пора обедать и не внесет миску супа. Но в полдень он услышал от священника заодноучителя намеки и попытку на пространную речь о бренности человеческого существования. Речь Матвей Иванович на стал слушать, а из намека понял, что брат его, Генадий, был тяжело болен, если не гри смерти. Новость ошеломила его, он не предполагал, что это может случиться, а если и случится, то не подействует таким удручающим образом. Не говоря ничего никому, он

спустился в раздевальную, нашарил на вешалке шубу и нахлобучил шапку.

Зимний день был такой, что нельзя было сказать, подходил ли он к сумеркам или на дворе было темно от пасмурного дня. Дома никого не было. Он догадался, что прислуга ушла в дом брата, наведать и разузнать, нет ли перемен в положении больного.

Пока он ждал ее, он думал, что никогда еще до сих пор он не видел так ясно все то, что произошло в тот последний день, после которого они расстались почти на тридцать лет.

Он как сел у края стола, в пальто, только сняв шапку и распутав на шее шарф, так и продолжал сидеть, думая только об одном, как же все это могло случиться, что они с братом стали такими заядлыми врагами, что случилось за эти мертвые годы, что ничто живое не толкнуло ни его, ни Геннадия на примерение, даже на случайную встречу, при которой можно было кинуть друг на друга взгляд, чтобы сказать, не столько от грусти, сколько для того, чтобы отметить самый факт: “её, как же это ты, брат, постарел!”

В кухне хлопнула дверь, загремели кастрюли на плите. Через некоторое время вошла Олимпиада и стала накрывать на стол, хотя еще было далеко до обеда. Он посмотрел на нее пытливо, чтобы узнать, не спрашивал ли кто ни-судь о нем в доме брата и не было ли ему какойнибудь вести оттуда, но она только поджала губы и сделала движение, по которому он понял, что ей нечего было сказать, кроме

того, почему он никогда не думал, что это может случиться; и ему стало еще тяжелее.

Теперь он знал необъяснимым чувством, что брат был при смерти, что он мог уйти окончательно, и от этой мысли ему стало страшно, что они никак не смогут выправить, попытаться вернуть хотя бы один день, сделать что то в последней попытке сгладить тяжелый след этих лет, не говоря уже о том, чтобы вернуть их.

Думая о брате и о его приближающейся смерти, он чувствовал, что словно прозрел и сейчас, в этот короткий остаток зимнего дня увидел то, что не видел за все эти долгие годы, и что теперь наполнило его невыразимо тяжелым давлением печали и позднего раскаяния. Ему казалось, что сейчас повязка спала с его глаз и он несказанно обрадовался этой мысли.

— И брат думает так, — поспешил он заверить себя, — думает, думает, теперь вот, у самого края, думает, и повязка тоже спала с его глаз!

Он поспешно встал, суетливо возясь с пуговицами пальто и заматывая шарф, чтобы успеть повидать брата. Он нарочно выбрал ту дорогу, по которой до этого избегал ходить, чтобы пойти по следам, по которым ступал его брат.

Приближаясь к дому брата, он продолжал уверять себе, что надвигающаяся смерть переменит все, что теперь, пусть, даже в последнюю минуту будет иначе, рассеется мрак и тяжесть прошлых лет, что они поймут друг друга и примирятся, хотя бы только на мысли, что уже никак не вернут тех, как он говорил

себе, мертвых лет.

На крыльце он остановился и от нерешительности и чтобы перевести дух, который захватило от то, что с еще большей силой нахлынуло на него в эту минуту.

— Как же на самом деле могло это быть! — снова повторил он, чувствуя, что не только от холодного ветра накатились на глаза слезы. Он оперся о столбик перил, озираясь вокруг, глядя на забор, идущий вдоль крыльца и отделяющий сад от двора, на голые сучья ветл и осин в саду, на крыши пристроек. Ноябрь был бесснежный, и голая земля казалось еще более холодной и неприветливой. Он снял шапку, но быстро одел ее опять, вспомнив, как в такой же холодный бесснежный день они шли за гробом отца. Здесь, у порога умирающего брата, он не хотел думать об этом, но внутренним холодом веяло от дома, сада, пустынного двора, от кухонного крыльца с застывшей лужей выплеснутых отбросов.

— Боже, как же все это знакомо! — подумал он с острой болью и невыразимой тоской, борясь со своим волнением. То, что казалось ему другим, когда он подходил к дому, что возможна перемена и что она будет радостная, счастливая, пусть даже в присутствии надвигающейся смерти брата, теперь, под впечатлением внутреннего холода и неизменности всего того, что он так хорошо знал с ранних лет своего детства, оставило совершенно его. Он даже сделал шаг назад, чтобы сойти с крыльца и вернуться к себе, озираясь испуганно, словно он готов был

сделать что то омерзительное, а не навестить своего брата.

Преодолев себя, он перевел дух, и чтобы не видеть ничего вокруг, что смущало, тревожило его и наполняло такой невыносимой грустью, что было и дорого и страшно еще с времен отца, Матвей Иванович втянул голову в воротник пальто и взялся за дверную ручку, в том еще смущении, но стараясь сделать все, чтобы преодолеть его.

Войдя в узкую прихожую, пропахшую старыми шубами и нафталином, и оглядывая стены, выкрашенные еще при отце зеленой краской, он вдруг почувствовал, что никаких перемен не было, что время не прошло, что вот он только что вернулся из прогимназии, еще только учеником, и сейчас переступит порог комнаты, в которой сидел отец, под его сурово-насупленный взгляд. Он опять почувствовал привычную робость, которую не могли вытравить в нем все эти годы, и вместе с ней чувство облегчения и успокоения, связанные с радостью. что он все таки попал в дом своего детства и юношества, с радостью даже возможной при том обстоятельстве, что умирал брат.

Он стоял бы еще дольше, с нахлынувшими вдруг воспоминаниями, борясь между чувством робости и радости, смущенный и растерянный, с холодными слезами на ресницах, если бы не открылась дверь из комнаты, которую они называли залом, и не показалась на пороге приготовленная по всему, но ни как не к приходу шурин, Екатерина Андреевна. Они оба были по-

ражены этой встречей, особенно она, увидев Матвея Ивановича, который не переступал порога их дома почти тридцать лет. Вся в трепете испуганного волнения, она сделала порывистое движение броситься к нему и поцеловать его, но устоявшийся суровый дух дома удержал ее. Она положила руку на его рукав, заглядывая снизу в его влажные глаза, с трудом удерживая свои слезы, и пригласила в зал, выйдя к себе или в комнату мужа, чтобы сказать ему о приходе брата.

Он переступил порог и огляделся. Все оставалось по прежнему, так, как он всегда помнил эту комнату. Он оглядел стены, на которых висели портреты лиц, о существовании которых он уже давно позабыл. Теперь и они казались строже и траурнее, впитав за все эти годы суровость дома. Кое какие из них он успел различить, его память воскресила их образы. На одной из них был изображен его отец в длинном черном сюртуке с медалью Красного Креста, и его мать, стоявшая позади него и слегка, только по принуждению фотографа, оперевшись рукой о его плечо.

Он оглядел мебель в тех же самых холщевых чехлах, стоявшую все так же на прежних местах. Вот там, за опрокинутой кадкой олеандра, в тот последний день, они оба, только что вступившие в жизнь, в новых синих вицмундирах, с бледными лицами и трясущимися челюстями, вцепились друг в друга из-за неподделенного наследства. Он вспомнил, как он всматривался в лицо брата, с которого сошла кровь, держа

его крепко за рукава, чтобы тот не ударил его опять, чувствуя, как эта картина омрачила его.

— Что, вицмундир! — сказал он вслух с невероятно тяжелым сердцем, отведя взор от того угла.

Матвей Иванович не мог видеть комнаты брата, куда вела дверь из другой смежной комнаты, но он знал, что там было темно и душно от лекарств и самого больного.

Пока он ждал возвращения золовки с приглашением пройти к больному — он не сомневался, что брат позовет его, — он хотел представить себе, как произойдет эта встреча после такого страшного промежутка, при таких тяжелых обстоятельствах, как у постели умирающего. Он войдет в ту знакомую комнату, в которой когда то умирал его отец, и брат, не поворачивая головы, а только от скрипа двери, поведет рукой чуть заметным движением, только пошевеливнув ею над одеялом, в знак того, что он знает, что тот вошел. Он подойдет к кровати и остановится на почтительном расстоянии, ожидая, не повторит ли брат движение, которое могло бы пригласить его придвинуться, даже сесть у постели, так, чтобы больной мог бы видеть его лицо, не поворачивая своего в сторону. Он опять поймает движение брата, подвинется ближе, заставляя себя преодолеть тяжелый запах непроветренной комнаты, стараясь не показать вида, что рассматривает брата, не приглядывается к его неузнаваемому лицу со странными пятнами, проступившими на его лбу и щеках, к лицу, о котором никак нельзя было

бы сказать той оскорбительно прозвучавшей здесь фразой: — а ты, брат Геннадий, совсем неплохо выглядишь!

Молчание было бы еще более тягостным и невольно напрашивало бы больного на вопрос: — а затем ты, в сущности говоря, пришел, если держишь себя так странно и даже ничего не говоришь?

Единственно, что можно было бы сказать, и что звучало бы пристойно, это о них самих, такой фразой, как, например: — вот, как, брат, это вышло! Кто бы знал, что мы проживем наши жизни почти рядом, и вместе... а вот почти тридцать лет...

И тут он не удержится, чтобы не смахнуть с глаз наворачнувшейся слезы и засуетится достать платок, и решит тут же поправиться и скажет нарочито бодрящим голосом, даже с повеселевшим тоном, словно то, что он скажет, не нужно принимать серьезно:

— Видел я, брат Геннадий, на днях сон! Будто играю на скрипке, а ничего не слышу. Стараюсь во всю, а этого, звука то самого, нет, не слышу ничего! Странно, а?

Он будет смотреть выжидающе на брата, но так, чтобы не показать вида, что он продолжает рассматривать его. И брат отликнется. Он сделает опять движение рукой над одеялом, но голоса еще не будет слышно, хотя острый кадык уже будет двигаться вверх и вниз над синей кожей провалившегося горла, и затем, уже после свиста и шипения голос брата скажет зловеще-тихо:

— Суеверие!... Если кому и играть и не слышать, так это мне!

И от этих слов повеет невыразимой тяготой, что покажется, что все подкосится от них...

Ему стало тяжело от своих мыслей, сн постарался отойти от них, развлечь себя думами о других вещах, но все в этом доме напоминало только об одном. Сн подошел к голландской печи, коснувшись рукой ее теплой поверхности, и сейчас же припомнил, как он и Геннадий, будучи еще гимназистами, жались к ней в надвигающихся сумерках зимнего дня в той гнетущей обстановки приближающейся смерти после затяжной болезни отца. Он припомнил комнату, в которую заглянул перед тем, в том страшном чувстве боязни и любопытства, которое вызывает к себе смерть в темной комнате, пропитанной застоявшимся запахом больного и лекарств, чтобы отшатнуться и опять вернуться к брату, все еще стоявшему около печи в том же чувстве страха и придавленности, насупленно приглядываясь к человеку с красным фуляровым платком у мокрых глаз, сидевшему на краю стула и поглядывавшего на дверь, ведущую в другую комнату, догадываясь, что это был тот, о котором было запрещено упоминать в доме...

Сейчас он это так ясно припомнил, с такой остротой зрительной памяти, что, казалось, все еще продолжался тот день, такой же серый, пасмурный, пронизанный не только холодом, но и общей безрадостностью и обреченностью. Особенно тот момент, когда поднялся на тряску-

щихся ногах ожидавший человек, суетливо стараясь то прижать платок к глазам, то спрятать его в задний карман, а из комнаты отца вышла молчаливая мать с фиолетовыми кругами под ввалившимися глазами, скорбная и прибитая не только приближением смерти, сколько самой жизнью дома...

Он поразился, увидев ее, но это было золотка, Екатерина Андреевна, совсем как его собственная мать в те дни, такая же скорбная и напуганная. Он кинулся к ней, сделал поспешное движение, ожидая от нее, что она передаст ему приглашение брата прийти к нему, но она продолжала стоять на месте и все, что она могла сделать, это посмотреть на него печальными и растерянными глазами и медленно покачать головой в том красноречивом движении, которое не нуждается ни в каких словах...

Подавленный отказом и в то же самое время безучастный ко всему, он спустился по ступеням крыльца и только когда ступил на обледенелые доски тротуара, надел шапку. Опять он вспомнил отца и тот ноябрьский день, но теперь ему было все равно, видел ли он какую-нибудь связь или нет.

Он свернул с главной улицы, чтобы избежать встречи с учениками и сослуживцами, идущими из гимназии. Он обошел далеко свой дом, прошел стороной мимо собора и площади, обсаженной оббитыми ветром ракетами, упиравшимися голыми сучьями в сумеречное небо.

Выйдя к реке, он остановился. Тянулся низкий

унылый берег, серый от скудно посыпанного кое где снега. Река была затянута льдом, похожим на свинцовые полосы. Он не помнил, катались ли они здесь с братом на коньках, или только следили за другими; он хотел вспомнить, подумать об этом, как имеющим определенное отношение ко всему, но опять чувство безразличия охватило его. Вот это он помнил, как на том берегу, за ивняком затона, они ломали черемуху весенними днями.

— Какая там черемуха, — сказал он вслух тем же тоном, отмахнувшись рукой, как тогда в “зале” о вицмундирах.

— Как же все это, на самом деле, могло случиться? Где же та повязка, которая спала с моих глаз? Ведь была перемена, была, почему же только она не привела ни к чему?

Он спустился к самому берегу, повернувшись спиной к ветру, сел на борт вытянутой на берег лодки в пустынном холоде надвигающегося вечера.

— Действительно, где том повязка, — повторял он, не в состоянии примирить себя с тем, что произошло в доме брата. — Но ведь произошла перемена, хотя бы во мне, так почему же...

Он представил себе, видя ясно перед своими глазами, расширенными от боли и тоски, как Екатерина Андреевна, в тот момент поразительно похожая на его собственную мать, вошла в комнату больного, всматриваясь пытливым взором, с каким близкие обычно смотрят на обреченных больных, наклонилась над ним, как бы

для того, чтобы только поправить подушку, и, разрываясь между страхом и надеждой, сказала ему тихим голосом, стараясь сделать это случайно, так, мимоходом, что пришел его брат и сейчас сидит в зале, дожидаясь, когда ему можно будет придти к больному. И как тот посмотрел на нее молча, стараясь сообразить, шутила она или нет, зная хорошо, что никаких шуток не бывало в их доме, и проверить, была ли она в своем уме, и не пыталась ли она сделать посмешищем его последние дни. Он продолжал смотреть на нее, меняясь краской в лице, пока оно не стало совершенно багровым, чтобы сказать после зловещего движения кадыком, с тем медленным и тяжелым ударением, уже лишенным всякого значения в виду надвигающейся смерти, что никогда, никогда, поскольку еще он живет, он не снизойдет до того, чтобы подпустить брата к себе, даже в такую минуту... Совсем, совсем так, как сказал его отец, за тридцать пять с лишним лет до этого, в то время, когда в догоравшем зимнем дне, перед ним и его братом, жавшимися к теплой поверхности печи, сидел человек, которого они видели впервые и который был их дядя, в суетливом движении нетерпеливого ожидания прижимавший к своим глазам красный фуляровый платок...

Март, 1948
Сеул, Корея

Хибииск чуть вмятый

Так вот почему она не появлялась за последние две недели — она ходила в Сугамскую тюрьму! Он чувствовал, что она не хотела говорить об этом. Но он должен был добиться ответа, и она знала это.

Свет уличного фонаря падал на них, когда в разгаре спора они выходили из под теневой защиты вишень. Тогда они были оба на виду, если кто либо хотел бы видеть их в этот поздний час, в дремлющей тишине Мегуро Шима, американца, по имени Джим, и Сумио, японскую девушку.

— Я ходила туда, — казалось, что она принимала отчаянное решение, — навестить... — в нерешительности и смущении она остановилась опять, борясь с собой, стараясь подойти к ответу с другой стороны. — Я была там два раза, на прошлой недели и на этой... Первый раз неудачно, так как там было много желающих навестить своих издалека... У ворот мне сказали, меня спросили, не уступлю ли я свою очередь другим...

— Затем ты ходила туда? Кто там, кого ты знаешь?

Он взял ее за руки выше локтей и повернул к себе так, что неровный свет фонаря прямо падал на ее лицо.

— Я ходила навещать своего отца, — ответила она со странным выражением лица.

— Твой отец в тюрьме?

Она освободилась от его рук и отступила назад. Он чувствовал, что его вопрос вызвал в ней эту внезапную перемену, самый тон его голоса, прямая грубость его. Никогда до этого он не видел ее такой, уже не робкой больше, не застенчивой, не любящей и нежной. Под светом фонаря она казалась мертвенно серьезной, словно решившись на отчаянный шаг.

— Мой отец в тюрьме... Он был полковником в армии до тех пор, пока не был арестован и предан суду...

Она хотела продолжать, но решимость покинула ее.

— Предан суду? — Он спросил больше ради того, чтобы поддержать ее и помочь продолжать. — И был осужден?

— Да. — Ее голоса почти не было слышно. В смущении или от боли, с опущенной головой, она хотела отвернуться от него, но он снова взял ее за руки, повернув с силой к себе. Она поборола себя, подняла голову. След вызова, даже выражение гордости показалось на ее лице. — Его судил американский военный суд и приговорил... к смерти.

Он удержал себя во время, чтобы не повто-

рить последнего слова.

— По какому, — он подбирал слово. — По какому делу, если так серьезно?

— По обвинению в незаконной казни плененных летчиков, — ответила она просто, и с кажущимся облегчением.

Он затаил дыхание, словно что то ужасно тяжелое неожиданно ударило его, закрыл глаза, чувствуя, что его тело свелось в конвульсии боли. Он опустил ее руки и отвернулся от нее. Неизмеримо большое расстояние отделяло их теперь.

Ночная тишина над Мегуро казалась хрупкой. Далеко, с той стороны горы, за высокими деревьями, гудело эхо приглушенного дыхания Токио, великого города, разбитого и полусоженного, устраивающегося в этот поздний час ко сну.

— А как ты относишься к этому? — Он с трудом заставил себя спросить ее, не узнавая своего голоса.

Она продолжала молчать долгое время, не сводя с него глаз, изучая его лицо, губы, глаза, которые стали влажными, мускул на шее, который внезапно стал напряженным. Ритмичный перебой деревянных колодок прозвучал вдалеке, приближаясь к мосту вниз, и Сумио инстинктивно отступила назад в тень. Когда опять установилась тишина и темнота, казалось, придав ла деревья и дома невыносимой тяжестью, она заговорила странно-спокойным голосом.

— Как я, как мы с мамой относимся к этому? Смертная казнь была заменена пожизненным за-

ключением, так что мама и я естественно счастливы.

Она хотел поправить себя на последнем слове, но он не слышал ее.

...Хибиска чуть внятный аромат... Впервые чуть уловимый след коснулся его в Гонолулу, когда влажным апрельским вечером, проходя через китайские кварталы, мимо женщин, нанизывавших лепестки цветов на гирлянды лей, он полной грудью вдохнул его тонкий аромат. Позже в тот же вечер гавайская девушка сбегала его, и слабый аромат хибиска охватил его с такой невыразимой силой, что он мгновенно почувствовал, как одинок он был в ту весеннюю ночь. Он пошел вслед за ней, но вскоре потерял ее в полуосвещенной улице, где она вошла в один из темных домов, живых только на верандах второго этажа в полутемноте, приглушенных голосах и сдерживаемом смехе. Торопливо он обошел квартал, всматриваясь пытливо в прохожих. На углу китайского квартала никого уже не было, но во влажном воздухе ночи казалось еще плыл аромат хибиска. Запах еще преследовал его, но исчез около базара, потерявшись в запахе рыбы и политой водой пыли.

Он вышел к порту, к складам, где соленый воздух освежил его лицо. У открытого склада стоял крепкий запах кофе, имбиря и шафрана, и ему опять показалось, что чуть уловимый след хибиска проплыл в воздухе...

Два месяца позже, уже в Токио, в таком же неудержимом порыве одиночества, он нашел себя в приглушенной темноте Мегуро Шима, в лесистой части, скрытой от главной улицы высокими деревьями. Было уже после десяти. Осторожно нащупывая дорогу в полной темноте, так как даже звезды были скрыты деревьями, он дошел до поворота. Внезапно знакомый аромат повеял откуда то, его слабый след проплыл, волнуя покойствие ночи. Легкие шаги приблизились к нему; он остановился, с трудом различая женскую фигуру. Она тоже остановилась, но аромат стал внятнее. Он вздохнул полной грудью, чувствуя, как ее охватила боль ожидания и сделал шаг вперед...

Полчаса позже они сидели на гранитных ступенях лестницы в конце улицы. Внизу, в темноте, сквозь густую листву кустов, шумела вода под мостом. Июньские звезды сверкали между верхушками деревьев. Беспокойная ночная птица никак не могла устроиться на покой на дереве над ними. Рука Сумио была изящной формы, ее кожа была мягка и тепла, у своих губ он чувствовал биение ее пульса...

Чуть внятным он был... Что еще было чуть внятным, но что уже нависало над ним, наполняя его болью и мукой, печалью и страданием, надрывая в тишине его сердце, сжимая его горло судорожными слезами, которые он не мог удержать? Но это было лишь в памяти, о чем можно было только думать с тяжелым сердцем, но что уже нельзя было ощутить, как, например,

руку Сумио и впитать ее тепло, что заливало его сердце еще большей тяжестью... В этот момент он услышал голос, который заполнил его печалью и чувством священного преклонения, любовью и мучением, так как это был голос его брата Дана.

Это был Дан, и было то время, которому уже никак не вернуться, как бы ни было это желанно. Это было в после нее лето перед войной, в маленьком, одноэтажном городке Кларксвиле, затерянном среди прэйри год летней пылью и дождями, но это было место и время, которых нельзя было позабыть. Дан, своеобразный девятнадцатилетний юноша, был неистощимым источником фантазий и приключений, с таким чудесным даром, что, казалось, мог протянуть радугу через небо. В самодельном шлеме, в коротких штанах защитного цвета, с высоко натянутыми носками, он сидел верхом на перилах веранды, вглядываясь прищуренными глазами в мокрые листья старого клена и на грязную дорожку, ведущую на улицу, мимо деревянного сарая, к стене которого тесно жалась дворовая сука Блаки, выглядевшая невероятно тощей под мокрой шкурой. Дождь шел не переставая, все небо было заволочено тяжелыми тучами, но под чудесной силой фантазии Дана все превращалось в зачарованность неизвестных мест. Все, что он должен был сделать, это протянуть руку и обвести широким движением, словно описывая границы своего владения.

— Туземцы первые сказали нам об этом, вернее дали намёк. Мы пробирались через пески

под невероятной жарой. Проводники предательски покинули нас, некоторые из наших лошадей пали под клажей, можно себе представить, что значить потерять их в середине безводной пустыни. Но в один прекрасный день...

— Говори, говори, Дан!

— Доктор, э-э-э, доктор Стивенсон! — Дан поправил его важно. Он опять сделал остановку, затем продолжал уже в другом тоне, нежном и зачарованном. — Затем, в один день, в отражении шафранового заката я увидел легкий, сиреневый силуэт сквозь мираж. Можно было думать, что это только показалось, но я знал, что это было то, к чему я вел свои поиски.

— Что это было, Дан... доктор Стивенсон? Говори, говори!

— Огромный кряж, к которому я дал имя Пурпуровых Гор... Готовясь к этому путешествию, я наметил только от трех до пяти лет... Я не зная, что отдам этому всю свою жизнь...

— Как ты достиг этих гор?

Дан смотрел вдаль прикованным взором, словно там, над низкой сырой землей, серыми крышами домов, внезапно величественных силуэтом поднялись горы.

— То была цепь гор, открыть которых я мечтал всю жизнь, — отозвался Дан с тем же зачарованным выражением. Его мальчишеское лицо было полно возбуждения. Со шлемом, сдвинутым на затылок, с рукой, протянутой вперед, Дан казался отважным исследователем, показывающим только что открытый край.

— Я не знал, что будет впереди, когда мы

начали подъем, — здесь голос Дан зазвучал с высокой значительностью взрослого человека, и он стал тщательно подбирать слова, словно они были его проводниками в том увлекательном путешествии. Он поддался вперед, и опять его голос зазвучал нежной зачарованностью и гордостью, и что то еще другое появилось в нем.

— Я открыл огромное озеро по форме, э-э-э, — он остановился в поисках сравнения, — по форме ромба, и реку, цветом кофе с молоком, которая вытекала из него. Внизу был водопад, и вечерний ветер поднимал над ним розовое облако водяной пыли... Туземцы назвали реку моим именем... Дело, конечно, не в том... Что было важным и что являлось предметом нескончаемого наслаждения, это отражение пурпуровых гор в шоколадном цвете воды...

— Как ты назвал озеро?

Дан казалось не слышал вопроса. Он смотрел на мокрые листья, на вымокшую собаку, отупевшую от дождя и вынужденного бездействия, и старавшуюсялизать свое брюхо, не высовывая далеко головы под лившуюся с крыши воду.

— О, да, название, — отозвался Дан, стараясь дать голосу случайный тон, и делая еще паузу, чтобы подыскать подходящее название. — Я назвал его Озеро Ниар.

Таков был Дан, всегда готовый с ответом, с образом, описанием, все по самому легкому желанию своего плодovitого воображения, уносивший не только себя от скучного места к авантюрной зачарованности неизвестных земель, да-

леко от серых нахохлившихся дсмов, напоминавших старух из богадельни, сбившихся вместе под серым зонтом неба.

— Однажды, после плавания из Глазгоу на барке Кристина Бэкер, по пути в Сундский пролив, я как то нашел себя на гранитной набережной Нагасаки.

Дан сказал это мимоходом, словно эти имена так же звучали знакомо, как Большой Рог и Кларксвилль.

— Как ты попал туда, Дан?

— Я вел экспедицию в поисках одного растения, которое находится только в редких местах тропиков... Но дело не в этом... Был ранний весенний вечер, и я старался как можно скорей освободиться от официальной стороны, банкета, речей... К тому же, как я сказал тебе, была весенняя ночь!

Дан смачно причмокнул губами и хитро посмотрел на брата.

— Позже я ускользнул с приема и пробрался на японское кладбище, на горе, позади города.

— Скажи, Дан, почему ты попал туда?

— Девочки, девочки, — проревел Дан с внезапно прорвавшимся смежом. — Какой же ты, брат, простофиля, ах, какой дурак!

... Почему же это никогда не приходило ему в голову, что что либо подобное может когда либо случиться с ним и с Даном?

— Почему я никогда не думал, — спрашивал он себя, чувствуя, как тяжелело его сердце, — что по этим улицам Токио когда то проходил Дан, но при других условиях, с повязкой на

глазах, с руками, скрученными за спиной, сопровождаемый двумя жандармами полиции Кемпей тай? Знает Бог, что я думал, думал со скорбью и болью, но никогда еще с таким удрученным сердцем! Не потому ли, что Сумио упомянула об отце и Сугамской тюрьме? Кто мог бы думать, что эта боль придет в короткий час счастья?

Он огляделся вокруг, словно видя это место впервые. Легкий ветерок прошуршал в листьях, и опять все стало тихо, словно окаменело в неподвижности, даже Сумио, с опущенной головой, с глазами почти невидимыми из под лба. Он чувствовал, что она была в смятении и печали, не зная, как объяснить внезапную перемену в нем.

Слабый аромат хибиска казалось еще плыл на невидимых волнах теплого воздуха, аромат, который привел его странным образом сюда, к неподвижности июньской ночи в тенистой заколдованности Мегуро Шима. Что случилось, когда они стояли в нескольких шагах друг от друга в ту первую встречу в хрупком молчании ночи, пока он не сделал шага вперед и не взял ее за руку? Она не удивилась, не отвела его руки, казалось, что все было подготовлено, чтобы пройти вниз, к каменным ступеням и сесть там над журчащим ручьем, под шелестом вишневых деревьев. Ее рука была мягка и прсхладна, хотя ее тело казалось еще хранило тепло дня. Что он тогда мог сказать, тронутый прсстотсй их встречи?

Они встретились после, во второй раз, в

третий, и он уже знал тем захватывающим душу ощущением, что любовь завладела им полностью, что она пришла как приходит весна к ожидающей земле, как молодая луна, восторженно всплывшая в бледном небе раннего вечера.

— Это была любовь, — повторял он про себя, но он не мог заставить себя посмотреть на Сумио. Она почувствовала это и отступила глубже, в тень деревьев. Любовь и ее отец, любовь и Дан...

Он опять стал думать о брате, думать с такой силой к сосредоточенностью, что казалось, что Дан неожиданно появился недалеко, на дорожке, ведущей к мосту. Дан, проходивший мимо, но не тот Дан приключенческих дней, доктор Стивенсон, Свен Гедин, отважный путешественник и исследователь, а Дан, которого вели два жандарма, ступающий неверными шагами, как ступают с тяжелой повязкой на глазах, не успев еще отойти и оправиться от возбуждения воздушного налета, от потрясения той страшной доли секунды, которая может показаться вечностью остро-напряженному мозгу, вечностью, пока он задерживается мыслью на жизни, на неистощимом источнике ее радости, на жажде и голоде жизни, и на смерти, все в ту дробь секунды, пока тело вываливается из подбитого аэроплана; пока оно не успевает еще отойти от потрясающего рывка внезапно раскрывшегося парашюта против ветра, падая с скоростью ста миль в час... Затем медленное парение в прохладном и успокаивающем сбъятии голубого озона, парение фантастическое и невыразимо миро-

творное, над клубами тяжелого дыма, скрывающего под собой горящий Токио... И затем второй удар о землю, среди горящих домов, среди разъяренной толпы, которая бросилась к нему, чтобы избить, замучить, и потом уже... О, Бог мой, как близко прошел Дан, что можно было дотронуться до него, тронуть его рукав, прикоснуться к его руке, к плечу, к шее над меховым воротником его авиаторской куртки...

Дома, в следующую весну после того памятного лета, пришло письмо из Вашингтона, в котором было сказано, что Дан пропал без вести в налете над Токио. Позже радио из Белого Дома оповестило, что американские летчики, захваченные в плен после налета над Японией, были подвержены пытке и казнены. Голос президента звучал торжественно, он говорил о любви, человеческом долге, верности и отваге, казалось, что он лично обращался к отцу и матери Дана, к его брату и сестре, которые смотрели сквозь влажную заслону слез на экран радио... Но голос не мог ничего сказать о черных вечерних птицах, исчезающих в розовой пыли водопада, или как стройный жираф скакал размашисто на голубом фоне далеких гор, подобно серому парусу над тяжелыми волнами моря... Голос не мог передать ни цвета, ни движения, ни линии, формы, глубины, тысячи и тысячи других вещей, потому что их уже больше не было, так как не было самого Дана...

Но он не мог не вспомнить и о другом времени, недавних вечерах, когда он ждал Сумио, ждал тягостным ожиданием, зная, что она не

придет, когда он блуждал по забитым толпами улицам, поднимаясь и спускаясь по бесконечным лестницам железнодорожных станций в давящем запахе толпы и дезинфекционных средств, надеясь, что одно из тысяч лиц будет лицом Сумио. Он вглядывался остро в другие лица, проверяя на них те же самые движения, ту же самую силу, ту же жажду по человеческому теплу.

Однажды, в том бесконечном потоке толпы, он наткнулся на молодую женщину, вытиравшую пот со своего красного от жары и усталости лица, с ребенком, привязанным за спиной. Неподалеку стояла деревенская девушка в выляневшем кимоно, не сводившая с женщины и ребенка глаз, в которых было отмечено все, что она потеряла. Вероятно это был ее дом, полный, каким может быть старый дом; может быть это был муж, ребенок... Может быть только обещание, только надежда, теперь уже бесследно потерянная, так что все, что ей осталось делать, это искать что то, похожее на намеке его...

Он видел людей, мужчин, одетых в разношерстную одежду, у которых только было одно общее, это старая фуражка японской армии с заплатой на том месте, где была кокарда. Они казались бездушными и опустошенными, как люди в конце длинного путешествия, где все, что они находят, это куча золы, в которой даже нечего копать.

Они не имели никакой связи ни с Даном, ни с Сумио. ни с ним сам м, и вместе с тем все они вместе были частью страшного потока,

вовлеченного в воронку. Он опять вернулся мыслями к Сумио, думая о том, что она почти сошла на нет, так как на ее месте внезапно появилась серая масса Сугамской тюрьмы, с ее отцом, как центральная фигура, размышляющим с восточной покорностью о смерти и жизни, насильственной смерти и пожизненном заключении...

Они все были возлечены в один мощный поток, рвущийся во всех направлениях под давлением отвратительного запаха толпы и дезинфекционных средств, в шуме и грохоте дня и ночи, пока этот поток не исчез совершенно, не стало опять мертвяще тихо и опустошенно, и в этом одиноком мире остался только Дан с двумя жандармами, Дан, все еще ступающий неверными шагами, все еще под ошеломляющим впечатлением возбуждения и потрясения, слишком трагических, чтобы задерживаться на них дольше, Дан, проходивший так близко от него, что можно было дотронуться до его руки, чтобы дать ему знать, что в короткий кусок времени, оставленный еще ему, он не был один, что с ним был тот, кто восхищался им, кто любил его и был с ним чуть ли не до самого страшного момента...

— Я не знал, что я отдам этому всю свою жизнь, — прозвучали в его ушах слова Дана сквозь страшное напряжение ночной тишины...

Сумио наблюдала за ним. Она чувствовала, что неизвестная мощная сила захватила его, с которой ни он, ни она не могли справиться. Она хо-

тела сделать все для него, чтобы снять с него эту тяжесть, которая давила и убивала его, но она продолжала оставаться сдержанной и терпеливой. Только по временам ее лицо освещалось чуть уловимой улыбкой, на подобие неопределимо печальной улыбки японской танцовщицы вокруг плотно сжатых губ в грациозном танце разбитой любви. Тогда она была опять той, верней, почти той, когда он впервые встретил ее, когда чуть внятный аромат хибиска тронул его неудержимо крепким порывом к любви...

— Что же мне делать! — спросил он себя, чувствуя до какой степени боль и печаль охватили его. — Простит ли мне Дан мои сомнения и борьбу? Знает Бог, что это не выбор между Дансм и Сумио! Нет, конечно, нет!

Он заставил себя повернуться к Сумио и посмотреть на нее долгим и неподвижным взглядом, который смутил и напугал ее.

— Нет, нет, — повторял он почти вслух себе. — Нет, это не то! Должен ли я сказать Сумио о Дане, я, сильнейший из двух, должен ли я задеть и обидеть ее? Если у меня Дан, то у нее ее отец... Нет, нет,.. Кто я — мститель, судья, чтобы решить судьбу кого либо и наказать его, я, который сам потерян и смущен, разорван меж у своей скорбью и любовью?

Он сделал шаг вперед и с мгновенно возросшей решимостью взял ее за руки, притянул к себе, чувствуя, что ночь опять стала теплая от прикосновения ее тела, от ее радостно загорев-

шегося лица, что умиротворяющий покой вновь покрыл его своим благотворным, исцеляющим прикосновением.

Сентябрь, 1949
Токио

Три сестры

Путь к ним на гремящем, как извозчике, автобусе по разбитым улицам вызженного Токио, мимо Советского Посольства, в растворе чугунных ворот которого разгуливает красноармеец в штанах клеш, в рубашке до колен, гладкой впереди, но в мелких складках на пояснице, в пилотке, надвинутой на вздернутый нос, с автоматом “пепешэ”, висевшим на перевес через пах.

Дорога идет дальше, через Ропонги, Шесть Углов, мимо выгоревших домов, еще не остывших пепелищ, мимо случайного смешения прошлого и будущего, к высокому дому, одиноко поднимавшемуся над разбитыми черепицами и пожаров.

Дом сестер — память прошлого не только на грустном пепелище сегодняшнего Токио, он в более глубоком прошлом, в таком, которое уже никак не вернуть и не отстроить заново. Он весь в альбомах, фотографиях, безделушках, вышивках, бисере кружевах под фаянсовыми вещами; его стены увешаны портретами

военных, священников, чиновников, старомодно одетых дам, детских лиц и тел в различных позах.

— Мы не порываем с прошлым. — говорит одна из сестер, глядя влажными глазами на выцветшую фотографию, изображающую маленького ребенка нагишем.

— Нет, мы не порываем, нет, нет, — задумчиво добавляет другая, словно в повторении “нет” стараясь уверить себя. Ее глаза увлажняются тоже, она делает движение головой, отряхиваясь от чего то, и улыбается долго и увлекательно, устремляя вдаль прищуренные глаза, пока третья сестра роется в пачке нот в поисках романса “Отцвели уж давно хризантемы в саду”.

Сестры церемонны и старомодны, они в романах, кружевах, в стихах о росе, цветах, птицах. Кажется, что сейчас одна из них достанет свой движный альбом и с задумчивостью, говорящей о незабываемой привязанности, откроет его на странице “Только утро любви хорошо, хороши молодые порывы... “Но время идет, здесь оно неостановочно идет назад, с неизменной верностью и привязанностью к церемонному ритуалу.

Кажется, что это не только уклад старомодного прошлого, это еще само прошлое, перенесенное чудом в сегодня. Вот кажется, что к чаю из глухих дальних комнат выкатят на кресле коричневую от древности старуху в буклях и наколках, и что все в гостиной в учтивой очереди почти служебной обязанности склонятся над пожелтелых пергаментом ее неживой руки,

и что из соседней комнаты, отодвинув с пристойным грохотом стулья от ломберных столов, выйдут игроки, оставив на минуту вист и преферанс, чтобы примкнуть к почтительной церемонии ужест ненужного обряда. Один из этих игроков может быть отставным генералом с еще хорошо сохранившейся славой скобелевских походов, а два других — чиновниками на высоких министерских постах, выхоленные, с крепким запахом одеколена и сигар, что могло связать их с фешенебельностью английского клуба, с тем миром покойствия и благополучия, который придавал всему, включая старуху в буклях, самих сестер, тогда еще барышень, такую уверенность в его нерушимой вечности...

Кажется, что в открытые окна заглядывает чужое небо, что из сада, под вечерней прохладой июля, льются отголоски песен и слов, что доносится сладкий аромат левкоя, резеды и ночного табака, и что из этой благоухающей темноты выбежит на веранду и прислонится пылающим лицом к колонне одна из сестер, повторяя с неудержимым волнением только что сказанные другим слова:

Еще я не люблю, но полон тайны сладкой,
Не так, как до сих пор, гляжу на Божий свет.
Еще я не люблю, — но уж томлюсь загадкой.
Ты, друг, полюбишь или нет?

Кажется, что над всем миром эта загадка, что сестрам-барышням 16, 18, 20 лет, и что за окнами и темным садом, за Васильевским Островом лежит под ночными огнями Санкт Петербург, породистый, блистательный, торжественный,

даже несмотря на расслабленность июльской ночи... а не вдаленный в пепелище суровой пятой судьбы разбитый и вызженный Токио...

Вечер еще длится, хотя небо над каменным городом продолжает быть бледным от северных сумерек или от покрова белой ночи. Тянется аромат цветов из темного сада, льется приглушенно музыка и даже голоса становятся приглушенными в очаровании остывающей июльской ночи. Все как то прислушивается к чему то, даже лицо коричневого пергамента, которое смотрит так же задумчиво вдаль, не дней и лет, а столетий...

Задумчиво смотрят и три сестры, но у них все впереди, все еще завтра, их лица отражают внутреннее горение надвигающегося счастья, условной фразы "Еще я не люблю"...

Кажется, что вечер не может остыть, не от дневного жара, а от ожидания грядущего счастья, от чего горячим становится даже камень колонны от прижавшейся к нему пылающей щеки, взволнованного лица, от шепчущих губ, от своих рук, еще таивших в себе крадучее ощущение жара других рук.

Но в это ощущение счастья вдруг вкрадывается смутная тревога, что не может быть все так на самом деле: ночи мирная, ее тепло, прозрачность белого сияния, аромат цветов, даже аромат слов "но уж томлюсь загадкой..." Тревога охватывает всех и тогда вдруг становятся печальными и даже встревоженными их лица, что не может придти внезапно и пройти бесследно — без радости и печали — это неожидан-

но нахлынувшее и необъяснимое чувство счастья, пусть даже только предвкушение его. Но опять, через минуту, обаяние ночи сглаживает с молодых лиц тревогу, и вновь, в том же порыве неудержимого влечения к таинственному смотрят они на бледные звезды, на темный сад, оборачиваются на освещенные окна уже затихающего дома, на приближающийся цокот копыт и приглушенный шелест шин коляски.

В эту ночь не верилось, что может войти какая то тревога, какой то знак чего то грозного и неотвратимого, что может нарушить не только сладкое очарование ночи, но и другое, что казалось незыблемым в уверенном состоянии своей вечности... Не верилось, что в этот притихший июльский вечер господин, вернувшийся после экстренного вызова в Министерство, удерживая в себе волнение ради того же старомодного церемониала, с торжественностью, соответствующему случаю, заявит о священном долге и чести пространной речью, и только в конце, после внушительной паузы, добавит, что Германия только что объявила России войну, что вызов принят, и что день 21 июля 1914 останется, как знак того же священного долга.

В этот миг, только от одного намека, исчезнет замороженность ночи, ее таинственное волшебство. и в наступившем отрезвлении все заговорят с нарастающим волнением о священном долге, и о том, как каждый понесет его — и генерал забытых скобелевских походов вдруг почувствует себя молодым, слав! о только что вкусившим эликсир жизни... А завтра начнутся

шествия и манифестации, заиграют духовые оркестры, провожая на войну эшелоны, и что в общей волне подъема, вслушиваясь в их марши, нельзя будет сказать были печальными или бурно-воинственными их звуки. Но уже после завтра пройдет бесследно тревога тех первых минут, и за ней надвинется зрелая сущность в угрожающих видениях, зловеще нависших над днями будущего полувека...

Старшая сестра нашла в это время ноты романса, подняла высоко кисти рук над выщербленными клавишами, с головой, наклоненной на бок, с прищуренными глазами, всматриваясь в пожелтевшие листы нот, и другая сестра, так же склонив голову, устремила вдаль задумчивым взором, приготовив на лице своем улыбку, хотя растопыренные пальцы сестры еще лежали неподвижно.

— Жить с надеждой на счастье уже само по себе счастье; — сказала она, отвечая самой себе, словно мысли о счастье не давали ей свободу пальцам. На ее голос еще мягче и задумчивее улыбнулась другая сестра, той улыбкой, которая важна только для себя, которая создана только для того, чтобы ответить самой себе, ответить тому, чему нет ни времени, ни границ, и что само по себе так же трудно ощутимо, как самое счастье.

— Не знаю, — медленно ответила третья, так же задумчиво, но без той улыбки, которая могла бы быть намеком. — Не знаю. Счастье это я ждала всю жизнь, но ожидание его не

сделало меня счастливой. Нет, — добавила она после долгого раздумия, — не сделало. Вы сами это хорошо знаете, — и в ее голосе зазвучало что то похожее на упрек.

— Не надо об этом, — заметила другая сестра, встревоженная от слов сестры.

Даже расстроенное пианино не может отвести внезапно хлынувшее дуновение из давно позабытого далека! Невольно думается обо многом, о чем не думается в другое время, шумное, занятое, вращающееся на коротком стержне сегодня; слышатся голоса, вдруг заговорившие словно чудом из давно ушедшего мира, еще только чудом теплющимся где то на окраинах земли... “О, как играет музыка! Они уходят от нас, совсем, навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить.” “Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить... надо работать... Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду...” “Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О, Боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена... Музыка играет так весело, так радостно и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем...”

Но это звучат нездешние голоса, повторяя слова трех чеховских сестер, Маши, Ирины и Ольги. Как отчетливо прозвучали здесь их слова, какими живыми и гибкими слышались их голоса здесь, в этой комнате, на расстоянии тысячи миль и нескольких десятков лет! Милые чеховские сестры! Думается все о том же мире, отрезанном этими, уже никогда неповторимыми, годами. Думается об образе, о тайном зарождении мысли, о тайниках творчества, о семидесятилетнем Толстом, наклонившимся над раздавленным кустом репея-татарника, над одним из оставшихся в живых цветком — красным, колючим, чтобы, задумавшись о силе жизни и ее упорстве, внезапно охладиться ярким образом Хаджи-Мурата...

Голоса разговаривающих перебивают мысли. Нет, это не Маша, Ирина и Ольга, не чеховские сестры, и место действия не вблизи Москвы, и не в дни глухой российской скуки, а в высоком доме, оставшимся чудом на пепелище Токио после страшного 1945 года. И после мыслей о Чехове и Толстом, наклонившимся любовно над красным цветком татарника, в тяжелом давлении эмигрантки, в ее плоскости, оскудении и голом зубоскальстве, говоришь себе, что эмигрантские три сестры не только перестали рваться в Москву, но даже бросили думать о Харбине..

И опять на дребезжащем автобусе, как на извознике, трясешься мимо Советского Посольства, мимо приземистого красноармейца с серым конопатым лицом, с “пепешэ” поперек паха,

через притихший, грузно осевший Токио, ровный, ржавый, сколоченный из деревянных ящиков, перекрытый перегорелым железом, трудно поднимающийся над своим пепелищем... И опять душа, встревоженная тишиной комнату высоко на шестом этаже над еще ухающим перед ночным покоем городом, витает над тем, о чем нет времени думать днем. в тот короткий отрез сегодня, и те же голоса, неотличимые от чеховских сестер говорят о счастье, о том, что оно придет завтра, что оно все в надежде...

Август 1950

Токио

Весна над Филмором

Хотя был только конец января, но весна была уже всюду в воздухе, — звонкими, возбужденными криками, неожиданными песнями отзывалась она с людных улиц, веяла над грязными крышами серых домов, птичьим щебетанием и чириканьем парила в голубой прозрачности неба; колыхала край занавески окна, и своим радостным, своим прекрасным дыханием наполняла мою комнату, и от ее необычного поведения, от ее неудержимого проявления счастья, я вставал и начинал ходить, как потерянный, как внезапно оторванный от глубокого сна, вдруг осязавший и осознавший тысячи вещей и желаний, отсутствие которых до этого давало мне возможность жить ровной жизнью предметов моего непритязательного обихода.

Колыхание занавески привлекало меня, я подходил к окну, шире открывал его, высовывался по пояс, — и благоухающее дыхание весны глубоко наполняло мою грудь. Улицы не было видно, но голоса становились приближенными с тем легким звоном и уханьем, с каким они зву-

чат в прозрачном воздухе. С Филмора неся грохот трамваев и методический, как пчелиное жужжание, шум пневматических зубил, раскалывающих мостовую.

С голубого неба, с крыш серых домов я переводил глаза на окно противоположного дома; в нем виднелся угол кровати под розовым покрывалом, и верх радиатора с ржавыми подтеками, на котором всегда сохли чулки и пара цветных штанов. Там жила девушка, иногда я видел ее голову с крашенными в неестественный цвет волосами, и тогда я с трудом подавлял в себе желание помахать ей рукой и крикнуть что-нибудь. Но комната была пуста, и с непреодолимым ощущением грусти я начинал чувствовать свое одиночество. В смутной растерянности я оглядывался кругом, словно никогда не видел своей комнаты раньше; из конца коридора доносились монотонные призывы радио, но они смолкали, и опять голоса с улицы становились ближе и заманчивее.

Поспешно я хватал шляпу и сбегал вниз по темной лестнице, пропахнувшей истрепанными дорожками и поколениями таких же непритязательных жильцов этого дома, каким был я сам. Пройдя, почти пробежав узкую улицу, я выходил на Филмор, единственную в мире улицу, где над поразительной смесью Гетто, Ниппона, Конго и Руси весна вставала, как нежное золотистое сияние, как ослепительный серафический свет, как мое неудержимое волнение перед несокрушимой силой ее сладостного волшебства.

Я шел по улице, волнуясь, спеша, стремясь

куда то, к каким то новым местам, новым, неизведанным ощущениям; я был, как человек, встревоженный нежданно обрушившимся счастьем, которого я еще никак не мог оформить, но волнующее предчувствие которого так радостно переживал. Я даже не шел, а подобно возлюбленному на картине Марка Шагала, спешившему на свидание, я плыл, странно загорачивая шею, в колыхающемся воздухе, параллельно теплой, насыщенной весною земле.

С высоты своего воздушного парения, вытягивая и еще круче заламывая шею, я заглядывал в рачьи, кроличьи, рыбы глаза людей, населяющих Филмор, и я видел в них странный блеск, необычное для них волнение, они становились влажными и блуждающими, и скользили по лицам других с несвойственным чувством нескрываемого обмягчения. Молодые люди крепче держали за руки своих возлюбленных, девушки внезапно хорошели, отблеск внутреннего горения не сходил с их радостных лиц; маленькие девочки в страстном порыве смутного материнского чувства начинали тискать и целовать своих меньших братьев и сестер, матери выступали гордо, вынося вперед груди, наполненные молоком и распиравшие швы материй. Они высоко держали своих детей, чтобы другие могли полюбоваться их бесграничному счастью. В этот час, как никогда в другой, можно было видеть всю кроличью плодовитость Филмора, выкатившего под полуденное солнечное ликование груди белой, желтой, черной кожи, весь этот сладостный посев прошлых,

таких же прекрасных, божественных весен.

В странном воздушном парении, почти касаясь уродливых арок, воздвигнутых ассоциацией филморских лавочником в знак милости Провидения, некогда спасшего эту часть города от землетрясения, я плыл за калейдоскопическим потоком тел; от земли поднимались незримые музыкальные облака, и в их ритме весеннего возбуждения повторялась невыразимо прекрасная человеческая симфония, ее ни с чем несравнимая радость.

Триумфальные арки моего воздушного блуждания оставались позади меня, я проходил в конец улицы в смутном стремлении к морю, к широким волнующим панорамам; но после шумного человеческого потока мне становилось не по себе в этом тихом, почти безлюдном месте, оживавшем только при высадке феникюлером своих пассажиров, и вновь остро и непреодолимо я ощущал приступ одиночества.

Перед началом лестницы я останавливался. Улица обрывалась вниз крутым спуском, и вместе с ней падали вниз зелеными купами висячие сады к ровной местности Марины, над которой поднимались старые выставочные здания; с изумительным оттенком фиолетовой синевы открывалась вся бухта Сан Франциско, гигантские башни строящегося через пролив Золотых Ворот моста, круглые холмы буро-лилового цвета других берегов залива. Горький запах кустов настигал меня неуловимыми, волнующим потоком, и он, и мачты далеких па: оходов за нижней частью города, и феникюлер, ползущий к

Филмору, вдруг проносили перед мной другой город. Запах цветов приближался явственней, я закрывал глаза и быстро открывал их, держа крепко рукой за телеграфный столб. Я был, как человек, внезапно потерявший направление: перед глазами только что проплывал старый бульвар, засаженный деревьями, и памятник над мраморной лестницей, так же ведущей к порту, и дыхание Черного Моря и далеких Анатолийских берегов вдруг охватывало меня, и я спешно оглядывался, чтобы удостовериться в существовании домов, запечатленных в памяти своими очертаниями.

Но позади темной лентой в лазуревом небе тянулись филморские арки, газетчики оживали при подходе феникюлера, и я приходил в себя, чтобы с безошибочностью — и грустью — отрезвевшего человека вспомнить, что эта Сан Франциско, январь, что в серафическом свете веет нежданная, радостная весна, и что я сам накануне какой то громадной радости, какого то большого необычного счастья.

Внизу у длинного мола приставали белые автомобильные паромы-ферри; они скользили по играющей солнечными пятнами воде, касались пристани, выпуская из себя линии сверкающих автомобилей, нагружались новыми и так же легко отчаливали. Море пахло содой и к запаху ее примешивался запах вареных раков со стороны итальянской рыбацкой гавани, откуда срывающийся ветер доносил обрывки песен и звуки скрипок и мандолин.

В состоянии того же волнения, охватившего

меня так неожиданно утром простым колыханием оконной занавески, я шел вдоль белого барьера мола, вглядываясь в солнечные пятна на зелено-фиолетовой воде, на белые барашки, которых гнал веселый ветер со стороны пролива Золотых Ворот, на чуть видимую группу белых домов в зелени Саусалито, и над ними — мутно сиреневый силуэт горы Тамалпайз.

Над рыбацкой гаванью висели флаги, там был веселый праздник; хлопались громадные полотнища на баркасах, с пронзительными криками реяли над ними чайки, мальчишки забирались на убежденные птичьим пометом черепицы крыш и оттуда звонко и задорно перекликивались с другими оборванцами, свесившими ноги с деревянного настила над водой. Ветер раздувал пестрые флаги, раскачивал мачты рыбацких фелук с подтянутыми для просушки бурными сетями, обдувал возбужденные лица толпы, скользя по ним отражением блестящих водяных пятен и внезапно меняя их выражения.

На одном из баркасов среди снастей мелькал смычок скрипки, мандолинист прижимал высоко к груди мандолину, и ветер разносил над гаванью звуки музыки; они затихали, и когда слышались только аккорды гитары, два певца в розовых рубашках с широкими поясами поднимали в сторону публики маленькие рупоры, и в переключку с сочным мужским голосом широко и вольно лился высокий женский. Толпа внезапно утихала, и слова простой неаполитанской песни доносились отчетливее, — и эти страстные слова, группа музыкантов и певцов с

рыбачьего баркаса “Фамилия Пияччи”, флотилия бело-синих лодок с названиями “Джузеппе”, “Санта Лючия”, хриплые голоса низкорослых рыбаков и звонкие крики мальчишек, свежий ветер, рвущийся от Золотых Ворот, вдали веселые пятна домов другого берега и над ними мантия Тамалпайз, которую можно было бы принять за Везувий, — все это создавало картину неаполитанской набережной.

Оттого, что здесь был шумный звонкий праздник, оттого, что радостная весна, просоленная свежим морским ветром, реяла над бело-синими пятнами рыбачьих лодок, красновато-бурыми сетями, над всей калейдоскопичностью красок, звуков, движения, я окончательно поддавался ее обаянию, крепости ее соленого дыхания, и таким же веселым и беспечным сливался в одно целое с толпой.

Взрывы смеха и громкие крики, заглушая музыку и пение с баркаса, поднимались от того места, где над водой торчало длинное бревно, густо смазанной желтым машинным маслом, на конце которого был укреплен флажок. Два толстых коротконогих итальянца в непомерно больших купальных костюмах по очереди разбегались и делали несколько шагов по скользкому бревну, тщетно стараясь добежать до флажка и сорвать его, но обычно после двух, трех прыжков со смешными движениями подающего человека, летели в воду, вызывая еще большие взрывы смеха в толпе.

Я проходил мимо низких зданий, в которых стояли ряды ящиков со свежим уловом сардин,

мимо дымящихся котлов с разваренными раками и крабами, слабые обрывки песен еще доносились до меня при внезапных порывах ветра.

В темном квадрате двери пивной виднелись меланхолические фигуры вдоль стойки, державшие в руках стаканы с пивом. В конце стойки гремел граммофон; идя на его звуки, после яркого света я с трудом различал предметы и только видел перед собой расплывчатое синее пятно. Освоившись с темнотой, в пятне я разглядел кельнершу в синем платье с туго накрахмаленным воротником, поднимавшимся раструбом вдоль нежного ствола ее шеи. Ее глаза были такого же синего оттенка и создавали вместе с платьем то общее впечатление глубокой синевы, поразившей меня при еходе.

В свободные минуты между обслуживанием посетителей у стойки, она останавливались около матроса в рубашке с оборванными рукавами и лихо надвинутой на затылок белой шапке, измазанной в машинном масле. Он был пьян, и сидел на высоком табурете так, как если бы сидел на верхушке мачты в страшную бурю, крепко оплетая его ногами с задравшимися штанинами.

— О, твои волосы хороши, — гсворил он, делая пивной кружкой волнообразные движения, и татуированный удав на его волосатой руке нырял по этим пьяным волнам.

— Не смей меня, — отвечала она, притрагивая рукой к марлевой наклейке на своем подбородке и нижней губе.

— О, тебе бы вот только хорошего чело-

века...

— Почему ты пьешь — спрашивала она его тем же мало выразительным голосом, стараясь не делать лишних движений ртом.

Вместо ответа матрос подпирал кулаком голову и неожиданно впал в мрачный тон; он начинал горланить песню о всех превратностях моря, с которыми приходится сталкиваться матросу, и которые в конце концов губят его. На печальном обстоятельстве он делал особое ударение и даже повторял последнюю строку дважды. По песне можно было судить о его загубленной жизни в непрестанной борьбе с изменчивой морской стихией, хотя он был молодым и, не только от пива, краснощеким парнем; кроме того по нашивкам и значкам его двух приятелей, привлеченных с улицы его пением, можно было различить, что все трое служили всего на всего в береговой охране.

Приятели уговаривали пьяного матроса вернуться на судно, но это еще больше раззадоривало его, он затягивал новую песню, как в судороге, кривил ртом, и его глаза, устремленные на синюю кельнершу, сквозили невероятным страданием, словно он только что пережил чудовищное кораблекрушение, и девятый вал окончательно закрывал его своим седым гребнем, чтобы на веки схоронить на морском дне.

Он заказывал кружку за кружкой, но уже было видно, что пил через силу и только потому, что привлекал внимание других. Наконец приятели отрывали его от высокого табурета, и он сам давался им, уже не сопротивляясь; но

на пол пути он вырывался и освобождал волосатую руку, опутанную сине-красным удавом, и борясь против здорового крена, направлялся к синей кельнерше. Он неловко обнимал ее и притягивал к себе; она захватывала в руки его красное лицо, что то приговаривая мало подвижным ртом, делая это с таким чувством принадлежности всем, что казалось каждый ощущал на своем лице ее короткие пальцы с ярко малиновым ногтями.

Матрос отрывался от ней и уже окончательно направлялся к выходу; но один из его приятелей брал за руку кельнершу, близко наклоняясь к ее уху.

— Не смей меня, — предостерегающе говорила она тем же тоном, что и первому матросу.

Он что то говорил ей и трепал по руке; она поддерживала нижнюю часть лица ладонью и смеялась одним глазами, одними их синим пламенем. Пьяный матрос пел уже за дверью салуна, но уже без прежнего пафоса; за стойкой стояла та же группа пивных меланхоликов, словно прикованных к медной трубе, идущей вдоль прилавка; быстрый голос крикливого итальянца доносился из за кухонной перегородки.

Кельнерша стояла у конца прилавка, она скашивала глаза книзу и мизинцем растирала губную помаду на верхней губе. Она замечала мой взгляд, улыбалась глазами и пододвигалась ближе ко мне. Она ждала, что я заговорю или так же, как другие, возьму ее за руку; она чуть поводила головой и улыбалась приглашающе, и я знал, что заговори я с ней, она так же

скажет — “ не смеши меня”, так же прильнет всем телом и положит на мое лицо свои руки с короткими ногтями, страшными от малиновой краски.

Но во мне еще жили отголоски шествия под филморскими арками, и я был переполнен нежностью от прекрасной музыки человеческого потока; клейкий запах влажных кустов падающих вниз садов еще внятно преследовал меня, далекие призраки проплывали перед глазами, слова неаполитанской песни сливались с трагической песней матроса и создавали впечатление о двойственности жизни, ни одна из которых не казалась реальной.

Но громкий голос итальянца за перегородкой переходил в неистовое стаккато, я встряхивался, внезапно вспоминал о времени, и с озабоченностью рабочего человека вдруг начинал спешить. Я бегом нагонял трамвай, вскакивая на площадку, хотя другой трамвай еще стоял у конца своей линии; калейдоскопическая смесь образов, мыслей, звуков, движений еще преследовали меня, и над этой радостной смесью всю дорогу вился неотвязчивый музыкальный мотив. Только сходя с трамвая, взглянув на повернутое лицо вагоновожатого, я заметил, что это он насвистывал весь путь этот мотив.

Но дома я вспомнил, что мне совершенно не зачем было спешить, так как был мой выходной день. После яркого дня моя комната показалась совсем темной и тусклой, и я опять почувствовал щемящее угнетение; обычный порядок дня был нарушен, и после радостных ощущений

блуждания по улицам города я чувствовал себя совершенно выбитым из колен.

Под вечер я заходил в комнату соседа, с тщательной последовательностью маньяка подбиравшего коллекцию трепанных детективных журналов. Трудно было представить человека более начитанного в своей сфере, он положительно глотал журнал за журналом, лежа всегда в одной и той же позе на тощей кровати, и оживал только тогда, когда вдруг заговаривало радио. Тогда он высовывал из под головы руку, сбрасывал на пол ноги, садился на кровать и выжидательно прислушивался к равнодушному, казенному голосу, прорывавшемуся сквозь матерчатый экран радио: “вызов патруля К-22, вывоз патруля К-22, расследуйте в отеле Мельбурн самоубийство женщины”.

Голос повторялся снова с теми же неживыми интонациями, мой сосед выжидательно поглядывал то на экран, то на меня, затем опять вытягивался на кровати, перекидывал ногу за ногу и подсовывал под голову руку; он приглашающе кивал мне головой на кипу журналов, сваленных на полу, и погружался в чтение, виртуозно отгибая страницы обмусоленным большим пальцем, пока новый полицейский вызов не заставлял его вскакивать с кровати.

Я возвращался к себе и тоже ложился на кровать. Вспыхивали первые уличные огни, гасли и вновь загорались электрические буквы вывески “Отель Монитор”. Над ней вспыхивала другая вывеска, точившая ровный несновый свет; крыши домов скрывали нижнюю строку,

и только верхняя своими дутыми стеклянными трубками выжигала в темном небе огненную фразу — “Откровение Друкера”, казавшуюся полной таинственного и многообещающего смысла. Я повторял эту фразу, пока сна не принимала совершенно загадочный смысл, хотя я знал, что нижняя строка гласила — “паста для зубов и десен”.

В конце коридора раздавался тот же казенный вызов, я слышал падение ног на пол, и голос что то кричал мне оттуда, голос человека, жившего в призрачном мире полицейских тайн, неразгражденных преступлений, среди отчаянных гангстеров и безупречно отважных сыщиков. Его слова не доходили до меня, я и не старался вслушаться в них, мы оба жили в призрачных мирах, в которых были бы чужды слова и определенные понятия.

Я вставал опять, подходил к окну, высовывался из него; внизу темнел провал узкого переулка, слабые квадраты освещенных окон соседних домов падали в него. То окно, в котором я видел утром угол кровати было темно. Я опускал окно, меня вновь тянуло вниз, на освещенные улицы, к людям, я еще раз переживал безпричинное утреннее волнение, и смутное ощущение счастья охватывало меня. Сосед что то еще говорил мне, но я проходил мимо его комнаты, открывал выходную дверь, и сладковатогнетущий запах ковров коридора оставался позади меня.

В кипучем потоке вечернего Филмора гремели громкоговорители, подвешенные к дверям

магазинов радио и парикмахерских, разнося под приплюснутыми арками истерическое захлебывание джасса, в пивных таперы, заставленные густыми зарослями пивных кружек. в разных степенях совершенства — и неумения — повторяли свои несложные репертуары, и в музыкальном исступлении мимо сверкающих выставок магазинов готового платья с загадочно-очаровательными улыбками манекенов, мимо бесзвучно низвергающихся каскадов гигроскопической ваты и гирлянд красноватых клистирных трубок аптекарских витрин, мимо бесстрастных красавиц кинематографических касс под ослепительным сиянием электрических ламп неслась толпа в безостановочном течении, к вечеру еще острее и радостней чувствуя волнуемое дыхание ранней весны.

Из темных домов негритянских миссий рвалось бесноватое пение, на углах уличные проповедники и ораторы громили человеческие пороки, иллюстрировать которые могли бы прекрасно на самих себе, подозрительные люди шныряли в плывущей толпе, с которой деловитые, как сборщики податей, проститутки снимали легкую и обильную жатву.

На углу старый газетчик, бессмысленно улыбаясь и перебирая во рту кусок потухшей сигары, хрипло и неразборчиво выкрикивал газетные новости. Он встряхивал патлатой головой, засаленная кепка сползала к вязанному шарфу на грязной старческой шее, он наклонялся вперед и выпускал с нижней губы слюну; медленно расхаживая, он бормотал про себя разбух-

шим, малоподвижным языком и хипел разъеденными горловыми связками. Время от времени его глаза принимали осмысленное выражение, он спохватывался, распускал шире вязанный шарф, и озабоченно направлялся в ближайшую пивную, чтобы промочить свое сифилитическое горло несравненным пивом знаменитой марки “Золотое Сияние”.

Взволнованным потоком бился Филмор в эти вечерние часы, и было у него особенное лицо: уродливое, дегенеративное и порочное. Таким, как видение, вставал он перед мной в вечер неожиданной весны, запечатлевая в моем обостренном восприятии ритм своего потока. В нем отдельным течением — и все же органически слитым с ним — проходило два подростка. Он был в синих рабочих штанах и рубашке, раскрытой у ворота; она была выше ростом с длинной спиной, на которой он низко держал свою руку, без чулок, в низких туфлях, с откинутой в его сторону головой. Они проходили торопливо с озабоченной возбужденностью на еще детских лицах, и люди на Филморе останавливались и провожали их удивленными взглядами, а несколько мужчин, звеня в карманах брюк серебром, следовали за ними, не сводя глаз с ее длинной спины и его сползающей руки.

Но подростки не обращали никакого внимания на взгляды прохожих и шествие позади себя; они останавливались у дверей отелей, юноша заходил внутрь, она оставалась на улице, выжидательно поглядывая в фойе, так же откидывая в сторону голову. Девушка проводила

рукой по волосам, отворачивала голову и, глядя поверх прохожих, тихо улыбалась чему то вдаль. Подростка гнали из отеля, но они не смущались: он брал ее за талию и с непередаваемым изяществом она клала руку на его плечо. И так долго они шли с нескрываемым горением на лицах, своей юностью и волнением вызывая удивленные взгляды прохожих, их шествие было неотделимым от всего Филмора, от его страстной жизни, оно было ключам к филморской порочной симфонии.

Они проходили мимо ярко освещенной гостиницы и, переглядываясь глазами, останавливались в нерешительности на мгновение. Из гостиницы выходил с женщиной матрос, на ходу тщетно стараясь закурить сигарету.

— Так ослаб, даже не можешь зажечь спичку, а? — и женщина с откровенными глазами рассыпалась жирным смехом. Матрос самодовольно ухмылялся и брал ее за локоть.

Подростки переглядывались, девушка оставляла на юноше удивленный взгляд и тихо смеялась мелодичным смехом.

Они шли дальше, так же оставляя за собой повернутые вслед лица, теряясь в многолюдном потоке, и снова выплывали из него определенным, как бы державшим центр всего, течением. У аптечной витрины, за которой в стеклянной банке гонялись друг за другом золотые рыбки, они останавливались на миг, и он поворачивал к ней свое пустое лицо.

— Знаешь, что они делают? — спрашивал он, и так же удивленно она поднимала на него гла-

за и тихо смеялась. Они отчаивались найти для себя место на Филморе, и сворачивали в темные негритянские кварталы, и в теплом весеннем воздухе пыл за ними ее мелодический смех.

Вместе с ними что то другое сходило с Филмора, словно с толщи его жизни срезывался пласт молодости. Улица заметно редела, гасли филморские арки, сразу выделяя над собой громадное темное небо, только оставались гореть мутным светом круглые шары под верхушками арочных переплетов; идя на звуки музыки из таверны, я окунался в парные вслны теллого пиеного воздуха.

Бартендер встречал посетителей своего бара щелканьем короткой руки о козырек фуражки, на тулье которой было вышито — “капитан”. Он поджимал нижнюю губу, улыбался, и в знак особого почтения к посетителям задерживал растопыренные пальцы у козырька; он приглашал всех чувствовать себя как дома, в этих гостеприимных стенах, на которых в медальонах, обрамленных толстым пеньковым тросом, красовались корабли всех времен и оснасток. Капитан отрывал руку от козырька и взмахивал ею вдоль стойки и стеклянных полок буфета, заставленных бутылками, он готов был до полного изнеможения служить своим посетителям, “все люди братья” — говорило выражение его чело-веколюбивого лица. Но зоркий взгляд его ястребиных глаз — у него было лицо старого ястреба — не пропускал ни одного движения уважаемых посетителей своего первоклассного бара; и когда не в меру упившийся посетитель.

начинал нарушать строгий порядок, установленный капитаном, заглушать и сбивать с тона оркестр, состоявший из двух человек, и своим предосудительным поведением посягать на респектабельность пивного заведения, капитан делал знак человеку в черном костюме и кожаной кепке, томившемуся от безделья у конца стойки. И тогда разряжался пивной воздух, надувались паруса кораблей на стенах пивной, и мимо высоко вскинутых в музыкальном экстазе плеч тапера и вдохновленного лица барабанщика шел человек в кожаной кепке; он подгибал массивную ногу, наклонялся над беспокойным посетителем и выразительно заглядывал ему в глаза.

Но того охватывали смутные, неотвязчивые желания — весна была над Филмором! Он заговаривал о неотразимом обаянии сестры капитана, Матильды, этой удивительной женщины, крепко державшей подносы с пивными кружками перед своей высокой грудью, выпуклой, как крутые чаши надутых парусов, неудержимо рвавших корабли за пределы канатных рам; он выражал настойчивое желание, чтобы оркестр уловил его настроение и сыграл чтонибудь подходящее к случаю, он шарил рукой по карманам, он хотел во что бы то ни стало угостить всех в баре, чтобы каждый мог выпить с ним за всех необыкновенных женщин в лице сестры капитана. Его мысли опять возвращались к ней, он тянулся к стойке, отстраняя расплывчатым движением руки человека в кожаной кепке; он готов, и он обещал, отдать все, чтобы только эта удивительная женщина могла понять его

переживания.

Но капитан заслонял Матильду и деловито выхсдил из за стойки; он вытирал красные руки о фартук и хлопал по плечу гостя, к этому времени с еще большей настойчивостью гого-рившему о своих, далеко недвусмысленных, жел-ланиях. И когда человек в кожаной кепке на-хлобучивал на глаза шумного гостя шляпу и выволакивал его мимо длинной стойки к выхо-ду, и там застревал, пока толстой ногой отпи-хивал створчатые двери и окончательно про-таскивал его, уже только неясно бормотавшего и пускавшего из рта пузыри, лицо капитана принимало выражение глубокой горечи и невы-разимого личного страдания. “Вы знаете чело-веческие слабости” — оно говорило, но входили новые посетители, волна энтузиазма и готов-ность служить вновь охватывали его, пальцы короткой руки щелкали о капитанский козырек, тапер с новой силой и выразительностью гре-мел ни то отходную, ни то встречный марш, разделяя с барабанщиком, кроме музыкальной славы, основательное количество пиво, поднесен-ное ценителями искусства.

Хлопались створчатые двери, пропуская тле-ния неоновых реклам, капитан все чаще и чаще вскидывал руку к козырьку и его глаза стано-вились все уже и пристальней. Толпой посети-телей охватывало музыкальное вдохновение, тип с прикушенной губой садился за пианино, яро-стно нажимая на педали, женщина с морской фуражкой, играя двумя золотым зубами, висла у него на шее. Кто то еще подсаживался к

пизнино и вторил мотиву на высоких клавишах, дико фальшивя и подвывая, и молодой солдат в плохо пригнанной форме с дымчато-синим от угрей лицом заворуженно слушал музыку, предостерегающе махая женщине, на ходу от конца коридора оправляющей свое платье.

В пивном воздухе плыли волны страстного тягучего вальса с томительно-замирающими паузами, пара с одинаково красными лицами начала танцевать в узком проходе около стойки; человек в голубом кашне с голубым бритым черепом, наливаясь в лице кровью, запевал сильным, резким голосом, и далеко оставая от пианино, тянул — “прощай, дорогая”...

Открывались створчатые двери, в темном квадрате колыхался теплый весенний воздух, в нем уже сонными казались серые дома, раздавались редкие шаги прохожих, с конца Филмора доносился влажный запах моря...

Таким я видел Филмор в тот день, когда в воздухе повеяло неожиданной смутой, когда радостная благоухающая весна наполнила своим прекрасным дыханием улицы города. Такими картинами калейдоскопического потока, красок, звуков отпечатывался он в моем возбужденном, восприимчивом мозгу, таким выпуклым, полным особого ритма казался он мне в тот день ранней, неожиданной весны.

Блуждая медленно по опустелым улицам, я слышал поднимавшиеся над землей звуки, я узнавал в них голоса Конго, Ниппона, Гетто и Руси, и в этот поздний час в их голосах, гово-

ре, шопоте повторялась уличная музыка Филмора, страстная порочная симфония, бившаяся учащенным пульсом. Но голоса сходили с улиц, возбужденные и страстные они лились из темных комнат над рамами спущенных окон, поднимались от полуосвещенных входов и грязных лестниц, и по опустелым улицам, под которыми громче начинали шуметь подземные трубы; за редкими фигурами ночных блуждателей, как бы затягивая за ними занавес, шла согбенная фигура зеленого от древности еврея, словно только что сошедшего с картины Марка Шагала, — и я внезапно вспоминал о своем утреннем радостном парении под триумфальными арками Филмора в серафическом свете ранней, чудесной весны, и состояние смутного ожидания счастья, какого то неминуемого вознаграждения за многие дни, месяца, годы моей жизни вновь глубоко и решительно захватывали меня.

Я доходил до своей улицы, сворачивал в нее и замедляющими шагами подходил к грязному входу меблированных комнат претенциозного отеля Монитор. Над крышами сонных домов в невидимом струении колебался теплый воздух, откуда то веяло необычным для Филмора запахом гелиотропа, пробивавшимся сквозь оскорбительный запах ковров гостиницы. Я стоял в нерешительности, не зная, подняться ли к себе наверх, или выйти снова на Филмор; ощущение одиночества глубоко пронизывало меня. В необыкновенном состоянии духа, в котором я был целый день вследствие удивительного сочетания калейдоскопических чувств, внезапного прозре-

ния, открывшего тысячи вещей и желаний, мимо которых я проходил раньше, не замечая их, и острого восприятия радостного ликования весны, прекрасным дыханием наполнившей грудь, я ощущал эту поразительную смесь, неясную и призрачную, родственную моим бесцельным и как бы несуществующим блужданиям по бесконечным улицам ночного Сан-Франциско.

Одно из освещенных окон неподалеку гасло, с грохотом поднималась рама и опять тишина наступала над сонными домами. Вспышки вывески "Монитор Отель" скользили сонными зарницами по резному карнизу дома, над крышами пылали неоновые буквы "Откровения Д. Уокера", запах гелиотропа чуть ощутимо проплыл в теплом воздухе.

С середины лестницы, словно мне не под силу был сладковатый запах ее ковров, я выходил опять на Филмор. На пустых углах его стояли ночные газетчики, слабыми голосами выкрикивая названия и новости газет. Навстречу мне шли такие же одиночки, каким я был сам, такие же осколки человеческого потока, как щепки после кораблекрушения они плыли с общим безразличием одиночек. Большинство из них я знал по виду, я видел их раньше, и они во мне узнавали своего, иногда мы даже обменивались незначительными словами случайно столкнувшихся бродяг.

Около ночной кафетерии, возбужденно жестикулируя, разговаривала толпа негров, на другом углу у полицейского телефона стояло несколько ночных сторожей и полисменов. Маленький че-

ловек в широкополой шляпе актера, сведя впереди руки в карманах пальто, и откинув далеко назад корпус, медленно проходил мимо меня, и в таинственном выражении его блестящих глаз из под низко надвинутой шляпы я угадывал то же самое необычное ощущение, так сильно охватившее меня утром. Я заглядывал в глаза других редких встречных, они были такими же смутными и рассеянными, и выдавали людей, живших в призрачном мире, который они создавали сами себе.

Как и они, я останавливался на углах, прислушиваясь к далеким шагам, и выжидательно по сторонам; заглушенный крик или смех приковывал мое внимание, я чувствовал потребность пойти на него, но крик пропадал бесследно или другие голоса заглушали его. Над городом низко нависало небо, словно воздух его становился тяжелым от дыхания людей, и ему было трудно оторваться от сонных стен и крыш домов, от случайно освещенных окон; за вечер оно впитывало в себя свет уличных фонарей и зарева ночных реклам, и принимало буро-коричневый цвет с серой пепельной полосой непосредственно над провалами улиц, в которой, как угли, дотлевали пятна неоновых букв. Я поднимал руку и простирал ее, словно хотел коснуться этих холодных углей в серой полосе, или расшевелить коричневый воздух над крышами домов; но выше к зениту небо было цвета ночной синевы с прекрасным мерцанием далеких звезд; я всматривался в него, вспоминал яркий дневной свет, и радостное

волнение, необычное предчувствие счастья вновь полностью охватывали меня.

Я блуждал по улице, я шел на кажущийся необъясними для Филмора — запах гелиотропа, но в крепком запахе свежее испеченного хлеба, поднимавшемся из подвалов булочной, он пропал бесследно. Попадая в теплые, волнующие волны хлебного запаха, я начинал чувствовать голод и выходил к ночной кафетерии.

Там за одним из столов спал человек, положив голову в съехавшей на затылок шляпе рядом с заставленным грязной посудой подносом; за другим столом пьяный негр неистово вращал громадными белками глаз, подчеркнуто разводил руками и что-то рассказывал женщине, сидевшей напротив него. Пьяного негра нельзя было разобрать, но его слова доходили до женщины и глубоко трогали ее. Она вздыхала, как вздыхают только от избытка счастья, и проводила рукой по лицу, словно хотела убедиться в том, что это все происходит наяву; она вспыхивала так, как могут вспыхивать только негры. Фантастические движения его больших костлявых рук с бледно-сиреневыми ладонями гипнотизировали ее, лицо ее принимало еще более замороженное выражение, неразборчивые слова негра окончательно трогали ее своим скрытым смыслом, она клала руку на грудь, чтобы прислушаться к биению своего страстного сердца, словно выверяя, выдержит ли оно этот наплыв чувств. Но она уже не могла больше сдерживаться; под непоборимым давлением любви она переходила со своего места и присаживалась

на край его стула, обнимая его и сливаясь лицом с рукавом его коричневого костюма. Но негр был поглощен целиком своим неразборчивым, но выразительным рассказом, он неистово разводил руками, вращал белками глаз, устремляя их на своего воображаемого слушателя.

В другой компании негров молодая негритянка с малиновыми румянами на сине-коричневых щеках высоко вскидывала жилистыми ногами с огромными икрами; негр с покатою, словно срезанной головой, шелестя по полу подошвами лаковых ботинок, чуть слышно выбивал чечетку. Около входа тип с бескровным лицом в растегнутой жилетке с жаром рассказывал кому то о последнем боксовом матче; ему не хватало слов и он почти в одно и то же время представлял сразу двух боксеров, он пританцовал на месте, миниатюрный с впалой грудью, но в неимоверно широких брюках и пиджаке с накладными плечами; он прижимал одну руку к груди и выносил другую вперед, быстро менял позицию, пригибался и почти падая вперед анемичным лицом, странным от выражения решительной жестокости, наносил отчаянный удар по воображаемому противнику, после чего моментально воплощался в другого боксера и тот же прием делал только другой рукой. Он так увлекался наглядной передачей рассказа и приходил в такое невероятное неистовство, что мимо него совершенно нельзя было пройти.

С улицы доносились далекие разливы сирены, приближавшиеся с заметной быстротой на другой стороне улицы уже собиралась толпа, и

один из служащих кафетерий, вытирая на ходу руки о грязный фартук, спешил к выходу. Он задерживался только на мгновение, чтобы оттолкнуть в сторону пылкого боксера, и за ним наружу выходило несколько человек из кафетерии.

Сирены патрульного автомобиля стихали близь кафетерии. Два рослых, с одинаково медно-красными лицами полисмена, высоко поддерживая под руки пьяную негритянку с растрепанными волосами под сбитой шляпой, подсаживали ее на заднюю ступеньку автомобиля, и туда же вталкивали негра в рваном шикарном костюме с исцарапанным в кровь лицом.

Полицейский автомобиль отъезжал, люди расходились, и казалось, сливались с серыми застроенными домами, на Филморе вновь устанавливались смутные формы его призрачного существования. Тишина опускалась над улицей, словно уродливые арки Филмора прижимали ее вниз, вдавливали в цемент тротуаров, и только под ними шел глухой гул подземных труб, живых, горячих, наполненных человеческими остатками...

В ту ночь, в поздний ее час, как бы в довершение многих переживаний необычного весеннего дня мне пришлось быть свидетелем насильственной смерти человека, которого я знал, и смерть которого, как бы заключая цикл моих нереальных видений Филмора, являлась логическим заключением его таинственной и по своему призрачной жизни.

Я возвращался домой по темному переулку с узким в полтора фута тротуаром, высоко поднимавшимся над неровными булыжниками мостовой, над которыми обрывались пожарные лестницы задних стен домов. От темных лестниц и заборов неслись мягкие взволнованные движения многочисленных котов, далекий раскат трамвая таял в воздухе над прижатыми друг к другу крышами, над которыми таинственным голубым веером поднималось зарево электрической сварки металлов от ремонта трамвайных рельс на Филморе.

Одно из верхних окон выступавшего далеко над тротуаром дома было освещено; я шел медленно, то глядя на него, то останавливаясь и оглядываясь на голубое полыхание в небе, прислушиваясь к его шипению в тихом сонном воздухе.

Когда я прошел почти весь переулок, внезапно услышал за собой грохот оконной рамы и звон стекла; я быстро обернулся и взглянул на единственное освещенное окно в переулке, откуда раздался шум. В окне оборванная штора висела только одной стороной, под потолком электрическая лампочка без абажура производила впечатление комнатной оголенности. В то же мгновение я увидел человека, спешно выскочившего из окна на площадку пожарной лестницы; он сделал стремительное движение броситься вниз по лестнице, закрывая руками голову, но кто то другой, вскинув с грохотом вверх раму, ударил его наотмашь, и только потому, что тот держался за перила, он не упал на сторону, а с приглушен-

ным криком сорвался вниз с почти вертикальной лестницы, несколько раз ударившись о выступы, пока не упал размягченной массой на перила нижней площадки. Мгновение он лежал там разбитой спиной на перилах, хрипя и конвульсивно вздрагивая, словно хотел выправить свое тело, пока наконец со смачным хрястом оно не свалилось на неровные камни мостовой, на поднимающиеся над ним выступы тротуара.

В то молниеносное время, ощущая холодное движение у корня волос, с приостановившимся дыханием и внезапно пересохшим горлом, в двух шагах от него, лежавшего на камнях в слабом пятне мутного фонарного света, всматриваясь в его молодое лицо со странно полуоткрытым глазом, мерцающим на подобии бельма, и другим, густо залитым кровью, я с поразительной зоркостью запечатлел в себе такие знакомые детали, как чуть искривленная форма якоря на его волосатой руке, лежавшей поперек груди с громадным кровоподтеком, сплюснутое и вкрученное внутрь ухо, чтобы со странным чувством необъяснимой подготовленности узнать в нем жильца отеля Монитор, зачитывавшегося кровавыми историями детективных журналов.

Он лежал неподвижно, далеко откинув на камни разбитую голову со светлыми волосами, залитыми кровью, и страшно оскаленными зубами, но в мирной неподвижности его тела казалось, что он держал наготове большой палец, чтобы перевернуть им страницу, и поднимется при первых же словах равнодушного голоса, извещавшего полицейские патрули о человеке, встре-

тившем насильственную смерть в одном из своих таинственных походов в грязном переулке ночного Сан Франциско.

Взволнованный шорох котов раздавался позади меня, над сдавленными карнизами крыш в ночном коричневом небе скользил сонный весенний воздух, в его тихом струении загорался голубой веер электрической сварки и тогда казалось, что все предметы начинали колебаться, словно призрачный мир глухого переулочка вдруг принимал новую форму своего существования, в котором терялось всякое представление о времени.

Но как по волшебству открывались окна других домов и оттуда высывались фигуры людей, привлеченных грохотом оконной рамы и приглушенным криком человека при падении с лестницы; издали уже неслись истерические вопли полицейских сирен, и через полминуты квадратное лицо ирландца полисмена, поразительно живое, наклонялось над откинутой на камнях головой человека. Осмотрев труп, полисмен ставил ногу на пожарный кран, и называя меня первым попавшим на ум именем, записывал мои показания, которые я делал машинально, словно я еще не мог очнуться от ощущения вокруг себя смутных форм фантастического мира.

В той же неутолимой жажде движений, красок, звуков я блуждал опять по улицам города, поднимался на высокие места, далекие панорамы открывались с них, но с тяжелым чувством

страшного гнета еще мерещился голубой веер электрической сварки над сдвинутыми крышами призрачного переулка.

Уже к ночи, выходя еще раз к рыбацкой гавани, вблизи мачт фелук и баркасов, я внезапно связывал расплывчатое синее пятно, преследовавшее меня целый день, с кельнершей из углового кафэ. и ее образ — марлевая наклейка на подбородке, глаза поразительно синего цвета — с выпуклой четкостью вставал перед мной, и я даже как будто чувствовал на своем лице ее короткие пальцы с крашенными ногтями.

От котлов с крабами я направлялся к угловому кафэ, но на полпути останавливался в нерешительности и поворачивал к пустынному молу вокруг гавани. Около баркасов было темно, только несколько огней падало в черный бассейн воды, чуть слышно хлюпавшей под деревянными сваями.

На одном из баркасов стагик рыбак, проваливаясь высокими резиновыми сапогами в серебро сардин, нагружал лопатой рыбу в плетеные корзины.

— Эй, Тони, — крикнул хриплый голос с мола, — брось ка мне штучки две для кошки!

Старик, не оглядываясь, выбросил на деревянный настил несколько сардин, и тяжело хлюпая сапогами в рыбьей массе, принялся нагружать корзины. Шаги на пристани удалились, отвернувшись от барьера, я смотрел им вслед, пока они не исчезли за углом, на котором находилось итальянское кафэ.

Шаги стихли, я оторвался от барьера и пошел

в направлении кафэ. Там в конце комнаты за столом с клеенчатой скатертью сидел толстый итальянец в поварском колпаке с грязным фартуком поверх голубых полосатых штанов; у кофейника другой итальянец перебирал на полке чашки, и только та же группа пивных меланхоликов, словно обреченная на вечное стояние у трактирного прилавка, еще напоминала о предстоящем дне. Убедившись, что в кафэ не было кельнерши, с давящим чувством смутного разочарования я вышел наружу...

Уже после, в окончательное завершение этого необычного в моей жизни дня, растравленный соленым ветром весенней ночи, еще слыша отголоски симфонии человеческого потока на ожившем цементе уличных тротуаров, еще под неизгладимым впечатлением серафического света, возбудившего в один момент множество ненасытимых желаний, я встретил женщину в таких местах, в каких трудно было ожидать встретить кого бы то ни было.

Возвращаясь домой от пристаней, около лесных складов я повстречался с нею; она прошла мимо меня и я еще издали поймал ее внимательный и пытливый взгляд. Я слышал за собой ее удаляющиеся шаги, но обернулся только на углу, чтобы заметить, что она стояла неподалеку от фонаря в тени дерева и смотрела в мою сторону. Я пошел дальше, но сделав несколько шагов, остановился в раздумьи и затем быстро зашагал обратно. Но дойдя до угла, я уже не увидел ее; так же быстро я прошел до другого угла, обошел вокруг весь квартал, заглядывая

в темные места между рядами сложенных досок. Я уже собирался уходить после бесплодных поисков, и даже сделал несколько шагов в прежнем направлении, как вдруг ее смех раздался между рядами сложенного леса. Она вышла и остановилась на тротуаре около дерева, и то расстояние, которое отделяло нас, пока мы стояли и смотрели друг на друга и я слышал ее смех, казалось отделяющим мою истинную жизнь от фантастического и неправдоподобного быта.

— Я боялся, что вы исчезли совсем, — сказал я неестественно покойным голосом, чувствуя, как трудно было оторвать ноги от своего места.

— Я была здесь все время, — и она сделала неопределенный жест рукой в сторону штабелей леса.

— Вот как! — добавил я, и то, что мы обменялись этими шаблонными фразами при всей неожиданности нашей встречи, было не менее удивительным.

Ветер с моря нес гул и гудки электрических паромов-ферри, он был теплый и влажный, с крепким запахом соленой весны. Блуждая по улицам у самого порта, мы о многом говорили, словно до этой случайной встречи мы уже хорошо знали друг друга и были сближены какими-то неуловимыми узами, отчего ощущение необычности всего дня становилось более острым и цепким.

Наверху мы сели на одну из скамей, на которой в обнимку сидят влюбленные. Она коротко, как от щекотки, засмеялась; сквозь тонкую ма-

терию ее платья я чувствовал тепло кожи и мягкие ямочки вокруг спинных позвонков.

— Сегодня, да? — чужим и вздрогнувшим голосом спросил я, заглядывая в ее лицо, и на мой вопрос она засмеялась еще возбужденнее. Я коротко вздохнул и нагнулся к ее шее с подбритыми волосами; она нервно перевела плечами и уронила на землю шляпу.

— Не поднимай! — еще взволнованней сказал я, чтобы сказать чтонибудь. От ее шеи шел смешанный запах мыла и вытертого мехового воротника, тропический запах десятицентового магазина смутным воспоминанием проплыл мимо меня. Я прижал ее еще крепче, повернув к себе ее лицо; она быстро взглянула на меня на миг ставшими серьезными глазами, и в неровном свете шатающегося от ветра фонаря ее лицо показалось совершенно новым.

Но из за угла вышел человек, неторопливо подошел к скамье и сел рядом с нами, и я так и остался сидеть с просунутой рукой под ее пальто. Он заговорил сразу с середины фразы, как будто все это время был с нами и просто после небольшой паузы продолжал разговор, в котором со странным чувством ни на чем необоснованного ожидания я услышал то, о чем думал весь день. Моя подруга с любопытством слушала его, повернув голову в сторону его старческого лица с отвислыми морщинистыми щеками, мясистым носом и громадной карасей губой; она прижимала мою руку к спинке скамьи, я чувствовал смущение, что старик мог бы увидеть, что я обнимал ее, и я тщетно ста-

рался придать себе естественную позу, чтобы он ничего не мог подумать.

Старик, рассказывая с таким же жаром, достал пакет, зазернувший в газету, и размотав его, вынул две бутылки с вином. Он долго шарил по карманам, откидываясь то в одну, то в другую сторону, вынимая их содержимое и вываливая его на колени, и я, не пропуская ни одного его движения, видел в этой куче листки бумаги, связку ключей, винты, коробку с жевательным табаком, целый ряд других мелких предметов и тяжелый кастет. Наконец найдя перочинный нож, он открыл его одним ловким движением руки с узловатыми пальцами и вздутыми венами, в вечернем освещении совершенно темного цвета, словно наполненные черной кровью, и образ человека с залитым кровью лицом на неровных камнях темного переулка внезапно померещился мне.

Так же разговаривая, повышая и понижая голос, показывая округлыми движениями руки на группу деревьев, фонтан и кусты, сквозь которых виднелись линии электрических шаров у пристаней и темные силуэты пароходов с вкрапленными огнями, отражавшимися в темном бассейне вод, — хотя он говорил совершенно не о них, — старик методически выскоблил пробку и, оттерев рукавом горлышко бутылки, протянул вино Кларе. Она взяла в руки бутылку, протерла край горлышка своим платком, и мелкими глотками, сжав глаза в мою сторону, отпила из нее. Старик наблюдал за ней, двигая своей карасей губой, одобрительно кивая головой и

приговаривая — так, так!

Она протянула мне бутылку, и я, по прежнему держа оттекшую руку за ее спиной, взял бутылку левой рукой и приложился к липкому горлышку. После меня с громким бульканьем долго пил старик. Отставив бутылку, он снова заговорил о молодости и любви; его голос становился вкрадчивее, интонации мягче и жалостливее. Он готов был отдать нам эти две бутылки вина с тем, чтобы мы не гнали его, а, главное, не стеснялись, так как стоя у дерева, он уже видел, как я целовал ее шею. Клара засмеялась; ободренный ее смехом, он протянул ей бутылку и мы по очереди еще раз приложились к ней. Старик рассказывал, что единственным для него счастьем было наблюдать за влюбленными, поэтому он не спит по ночам и ходит по таким местам, где уже находятся пары. Иногда его гонят, но иногда совершенно не стесняются при нем, и это щедро вознаграждает за те пустые ночи, когда его блуждания происходят в полном одиночестве. Он даже задумался и потряс печально головой, еще круче выдувая громадную верхнюю губу.

— Для меня нет большего счастья, — проговорил он в глубокой задумчивости, и видимо глубоко растроганный своими словами, вне очереди отпил из бутылки. Клара смотрела на него с заметным состраданием, вскинув свои выщепленные брови, напоминающие два тонких шрама.

Вино окончательно развязало язык старика, он говорил все возбужденнее и сладострастнее, смакуя с особенным удовольствием те обнажен-

ные места, о которых он говорил подчеркнуто вкрадчивым голосом; по временам испытующе поглядывал на меня, когда ему казалось, что он зашел уже очень далеко. Он подобострастно хихикал, странно надувая хоботообразную губу, и дважды, как бы случайно, коснулся рукой колена Клары.

От его слов Клара, впиваясь ногтями, крепко сжимала мою руку, и я видел ее расширенные зрачки; прильнув ко мне, она сильно обдала меня запахом портвейна. Старик рассыпался надтреснутым хихиканьем, он слабо захлопал в ладоши, заглядывая в наши лица. Сказывая свои глаза от лица Клары, я видел его старческое лицо с опущенным ртом и водянистыми глазами с красноватыми вывернутыми веками. Я хотел столкнуть его лицо, но Клара, не отводя своих губ, покачала головой, что то промычав при этом: она крепче прижимала мою руку к своей груди и сильно вдавливая в скамью давно затекшую другую руку, откинулась назад.

Мы еще раз отпили из бутылки, уже почти пустой, и старик начал так же методически высверливать пробку другой бутылки, когда Клара решительно встала; закинув за голову руки, чтобы поправить прическу, и держа во рту шпильки, она сказала — ну, пойдем, что-ли!

Старик испытующе взглянул на нас и стал спешно заворачивать в газету бутылки, невнятно бормоча недовольным голосом про себя. От ощущения теплоты тела Клары и вина я пришел в неудержимое волнение, чувствуя внезапную дрожь по всему телу. Мы шли, и наши шаги

гулко поднимались над цементом тротуаров, словно на пустынных улицах спящего города мы были только единственными живыми существами.

Мы шли довольно долгое расстояние, пока не вышли к длинной ленте приплюснутых дуг филморских корон; красота ночной панорамы захватывала меня, мы останавливались на высоких местах и смотрели на вздрагивавшее золотыми искрами сонное тело города и коричнево-синий воздух над ним, в котором, как угли, тлели буквы неоновых реклам, и я простирал руку, как если бы все это было моим владением.

Старик шел за нами, он то отставал, то снова нагонял нас, и тогда мы слышали его заискивающий голос и просьбы не бросать его. Мы оборачивались и смотрели на него, он тоже останавливался и лязгал зубами, делая к нам движение и в то же время, видимо, боясь. Смех Клары воодушевлял его, он чувствовал себя уверенней, я видел, как довольно он двигал своей карасей губой и его глаза начинали гореть.

Так мы дошли до темного переулка, по которому можно было сократить путь, но я предпочел не сворачивать в него, а обойти почти вокруг квартала. У дверей мебелированных комнат отеля Монитор, видя, что мы заходим внутрь, старик прибавил шаг, почти побежал за нами, размахивая руками и протягивая сверток с вином. Но на лестнице, поняв, что мы решительно уходим от него, он слабо вскрикнул.

— Это моя самая большая радость... Для меня ничего больше не осталось...

При свете тусклой лампочки под самым толком его лицо с большим хрящеватым носом и раздутой губой, по углам которой шли глубокие морщины, казалось особенно жалким. Я деловито спустился вниз, чтобы прогнать его. Он испуганно взглянул на меня и нелепым движением, далеко занеся за голову руку, замахнулся на меня выдернутой из свертка бутылкой.

— Смажь его по зубам! — сказала сверху Клара с внезапным чувством жестокости, но так просто, как будто хотела сказать — выпей же с ним вина, ведь он тебе предлагает!

Я поймал его за руки и, нажимая на выпуклые вены, наполненные черной кровью, стащил его вниз по лестнице; он издал жалобный крик потому, что грохот скатывавшихся вниз бутылок вызвал в нем представление, что он сам гремел по лестнице. Уже на улице я подобрал бутылки и шляпу и всучил их ему в руки, прикрикнув на него, чтобы он убирался по добру, по здорову, торопясь вернуться к Кларе, стоявшей наверху лестницы. Старик торопливо шарил по карманам, очевидно в поисках кастета, чтобы надеть его на свои узловатые пальцы. Окончательно убедившись, что для него все потеряно в эту ночь, он, драматически шатаясь, отошел на другую сторону улицы; он всхлипывал, слабо выкрикивал жалобы и роптал на свою судьбу, но отойдя дальше и вооружив руку кастетом, разразился бессильными, грязными ругательствами.

Наверху площадки, сняв шляпу, слегка оперевшись на перила, с непередаваемой грацией

стояла Клара, и в неясном освещении тусклой лампочки под самым потолком, после всех странных обстоятельств необыкновенного дня, она представлялась такой необычной, такой особенной, так долго и почти тщетно ожидаемой.

— С таким останешься в комнате, он еще придушит, — заметила она, и я, пока поднимался по лестнице, никак не мог понять о ком она говорила.

За окном коридора в ночном небе горела загадочная строка “Откровение Друкера”, вызвавшая смутную ассоциацию с призрачным голубым веером над темными крышами переулка, привычный сладковато-гнилой запах ковров окружал меня, но наверху стояла Клара, излучая роскошный запах тропических подвалов десятицентовых магазинов, и она, и выпроваженный старик казались такими нереальными, фантастическими, словно я сам в одну из полубессонных ночей разыграл эту сцену с явно вымышленными персонажами.

Январь, 1936
Сан Франциско

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
С И Р И У С



Прием заказов на
книги и другие из-
дания. Аккуратное
исполнение. Направ-
ляйте запросы на

Готовится к из-
данию трех-томная
Антология Русской
Поэзии и другие
сборники.

СКЛАД ИЗДАНИЯ

THE RUSSIAN LIFE

2 4 5 8 S U T T E R S T R E E T
S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A

П о д п и с ы в а й т е с ь н а
с т а р е й ш у ю р у с с к у ю
г а з е т у н а Т и х о о к е а н с к о м
п о б е р е ж и и А м е р и к и

РУССКУЮ ЖИЗНЬ

о с н о в а н н у ю в 1921 г.

Широкое освещение новостей и местной жизни. В газете принимают участие известные писатели и журналисты Русского Зарубежья.

THE RUSSIAN LIFE

2 4 5 8 S U T T E R S T R E E T
S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A

Поступил в печать
Третий Том
Сочинений П. П. Балакшина

ВАСКА ДЭ ГАМА
и другие рассказы

Готовится к печати
Четвертый Том

П Ё Е С Ы

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО СИРИУС
С а н Ф р а н ц и с к о — Н ь ю И о р к

